

«Вологда. XX век»

Сергей БАГРОВ

КРИВАЯ СТРЕЛА

РАССКАЗЫ

к-1309017

Вологда. 2000

В НОВЫХ ПЕРЬЯХ

В конце апреля, когда на Кубене, брызгая и сверкая, погрохатывал ледолом, из далекой Чечни в родную Нечаиху возвратился Василий Куряев, высокорослый, солдатской выправки холостяк с застыло-задумчивыми глазами, которые видели смерть.

Ивановна встретила парня с коротким и радостным воплем:

— Жи-ив!

Для матери нет выше счастья, чем видеть возле себя путевого сына. Ивановна рада ходить за ним, как за малым дитем. Стародавней беседнице, вечно бодрой и вечно румяной доярке Аглае она поведала как на духу:

— Вася-то мой белоплотный, здоровый. Водку-безумку не пьет. Все-то около дома. Гожий к любому заделю. Крылец вон изладил. Картошку из ямы перетаскал. На девок глаза не щеперит. Не чурочку носит, небось, на плечах. Смекает, что верное дело, когда в уваженьи — родимая мать. А девки чего...

— Их и нету у нас,— перебила Аглая.— Одна разве Сонька. Зубастая, что тебе щука! Злая, как черт!

— И язык на губу набежал,— дорисовала Ивановна Сонькин портрет.— Всех баб обляяла на деревне. На что ему эдака лайка.

Ивановне 46 лет. 30 из них провела среди коров. Ходит на ферму два раза в день. Сына видит урывками, между делами. Месяца Вася не прожил в деревне, а она в нем нашла уже перемену — носил на душе привезенную с юга печаль, и вот отодвинулся от нее, стал резвее и веселее.

Однажды Ивановна с ним завела разговор. Сказала ему, чтобы Вася с женьитьбой не торопился.

— Молод еще. Поживи холостым.

Сын заупрямился.

— Может, мне холостым-то уже надоело?— И лобатое, с налитыми щеками лицо его озарило сияньем спрятанной думы.

— А невеста? — спросила мать.— Где она? Надо сперва ее разглядеть!

— Я, быть может, уже разглядел!

— Вася!! Не вздумай и в самом деле кого-нибудь там привести!

— А ежели вздумаю! То чего?

Ивановна даже расстроилась.

— Встану в дверь, как заплот!

— И не пустишь?

— А то!

Губы у сына разъехались в длинной улыбке:

— А окно-то на что?

Через несколько дней в легких сумерках майской ночи Ивановна пробудилась от остро точившего сквозняка. Заглянула в светёлку. А там, под раскрытым окном на двуспальной кровати, знай себе, посыпает ее гожий Василий. И не один. А с подругой, в которой Ивановна распознала покорно притихшую Соньку.

— Вася?! — сказала она с изумленным испугом.

Сын лишь поднял ладонь.

— Тиха, мама! Неуж-то не понимаешь? Это моя молодая. Мы поженились.

— Когда?

— Со вчерашнего на сегодня.

Ивановна растерялась “Что делать? Что делать?” — толкался в груди колготливый вопрос.

Час спустя по холодной росе уходила она на ферму. Уходила, как и всегда, на пару с Аглаей, бегливые глазки которой, едва разглядев ее, вспыхнули интересом:

— Чего, Ивановна, ноне с тобой? Личико-то чужое. Было бело, стало серо.

Ивановна скорбно:

— Переладка теперь у меня. Жили вдвоем, будем втроем.

— Это как?

— Вася женился!

— На ком?

— Да на этой, на лешевой Соньке!

— Ой! Ой! Ты бы ее не пускала.

— Я — чего? Так и делала. Дверь закрытой была — дак они сквозь окно!

— Значит, Васе она впондрав! — восхитилась Аглая.— А чего, Иванов-

на! Ведь с другой стороны поглядеть: девка бодрая, старше Васи всего на пять лет, и ростом взяла, и лицом ничего, и характером, что боевущий солдат!

— И губки помадой не залеplяет,— неожиданно для себя подхватила Ивановна, чувствуя, как лицо ее все полыхающе возгорелось.

— И к работе годяшна! — продолжала Аглая нахваливать Соньку.— Видела летось, как стояла она на зароде с граблями. А подавальщиков трое. Хотели сеном ее закидать. Да куда-а?! Умаялись сами. Девушка – лось!

— Вася знал, кого брать! — рассиялась Ивановна, ощущая в груди приливание сладенького бахвальства...

— Жизнь-то будет теперь у тебя...

— По другому уставу! — Ивановна как бы опомнилась, вскинула руки, поправив платок.

— Всяко лучше? — предположила Аглая.

— Лучше ли, хуже,— Ивановна заморгала, уловив на реснице скатившуюся слезу,—не в этом дело. А в том, что теперь она — в новых перьях!

— Кто?! Сонька-та, что ли?

— Жизнь — сказала Ивановна и уставилась взглядом далеко-далёко, через поле овса к зеленевшему лесу, словно там, за деревьями, торопясь ей навстречу, толпились все ее недожитые дни, обещая новые хлопоты и заботы.

1995 г.

НЕНУЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Галактион два раза уже пересчитывал стадо. И оба раза сбивался со счета. Должно бы быть 78 коров. Получалось же 76.

Не поленился пастух. Пока не стемнало, нукнув на вспаренного Гнедка, спустился в низинку. Пахнуло сыростью и туманом. Галактион внимательно осмотрелся. Где куртинка осоки, где таволги, где скелет редколистного ивняка. Чуть пониже — спинка ручья, над которой — брошенная колода. Ну, а там, в перевитой траве, торопилась в угор надолбинка-тропка. Коров здесь не было и в помине.

— Давай к заполью! — Галактион направил коня к колоде. Пересек ее. И надолбинкой выбрался в поле, по-над которым стихающим пламенем октября желтела березовая опушка.

Деревья уже обносило густой синевою. Галактион ехал краем скошенных ржей, пристально всматриваясь в прогалы. “И здесь, видно, нет”, — сказал

себе с грустной досадой. Опустив удила, огорченно остановился. От мысли, что он опоздал, что с коровами что-то стряслось, и ему об этом уже не узнать, сделалось неприятно. Он вздохнул, и в груди его, распираясь от злости, выросли вспльчивые слова: “Коровы теперь, как из золота! Кажная тысяч по десять! Не найду — вся работа моя — скотине под хвост. В тюрьму, конечно же, не посадят. А лучше бы, думаю, посадили, чем такой оборот. Ведь семья у меня. Двое школьников, двое до, да один у Галины на титьке. Был, едри твоя бабушка, полуголым — заделаюсь голым! Как не хотел я на эту пастьбу. Да нужда. Нужда приказала. Мечтал за лето подразжиться. И пожалуйста: двадцать тысяч рублей. До копейки выберут из полочки...”

Было тихо, и может поэтому Галактион разобрал приглушенные голоса, просочившиеся сквозь лес от заросшей кустарником старой дороги. “А что!” — навострился пастух, ощущая отчаянность смельчака, который, была-не была, а сделает так, как задумал, и легонько подпнул каблуками коня.

Звякнули удила, и послушный Гнедок желтой тенью нырнул в перелог.

На одичавшую, в сваленных травах дорогу, которой вот уже десять лет как не пользовался никто, Галактион тихо выбраться не сумел. Ломая ивняк, он едва не наткнулся на грузовик. И тут же за ним, где светлела поляна с копной, увидел пропавших коров. Двум, стоявшим около них мужчинам в капроновых куртках он вначале не придавал значения, так как было ему не до них. Но мужчины пошевелились, и он понял, что здесь они с собственной целью.

— Вы чего тут? — спросил их Галактион, наполняясь волнением сторожа, укараулившего незванцев. Ближний к нему — высокого роста, с красивым, но бледным лицом распахнул полы куртки. Пастух, обомлело моргая, увидел ствол до уродства обрезанного ружья.

— Ты нас не видел, — сказал второй, и тоже выставил ствол из-под куртки.

Провожаемый зраком стволов, Галактион поспешливо развернулся и двинул с конем по забитому мглой и ветками перелогу.

Выбравшись в поле, вытер залитое потом лицо. В душе его, как после драки, в которой из жалости пощадили, остался разор. Пастух заорал, швыряя в вечернюю мглу вместе с бешеной матерщиной свою беспомощность и обиду. Орал и не чувствовал, что несется он диким галопом и что может вылететь из седла.

Лишь на скотном лугу, опустившем от стада, самоходом отправившемся в деревню, верховой обуздал в себе гнев и какой-то неглавной, работавшей как бы вдали от него вспоминающей мыслью отметил, что молодчиков этих он уже видел.

Месяц назад, оставив со стадом Галину, Галактион ездил в город купить для ребят кое-какого надобья из одежды. Отоварившись, заглянул в магазин, чтоб купить чего-нибудь из спиртного. Хотелось не просто водки. Этого зелья достаточно и в деревне. Положил было глаз на высокую полку, где красовались нарядные склянки ликеров, водок и коньяков. Но цены были не по карману. Галактион едва не присвистнул:

— Неуж-то кто покупает? — спросил мрачноватую продавщицу с презрительными губами, которые открываются не для всех.

Продавщица вместо ответа взглянула все примечающим взором куда-то мимо щеки пастуха.

В дверь не вошли, а вплыли, сверкая стальной фурнитурой, двое изящно одетых мужчин: один — сухощавый с женственно-тонким лицом, второй — коренастый, с портфелем.

— Снова у вас! — сказал бодрым голосом худощавый. А коренастый, достав из джинсовой куртки щепотку хрустнувших сторублевок, так весь и вспыхнул золотозубо распахнутым ртом:

— Парочку Абсолютов!

По уверенно-смелым глазам, какими мужчины окинули магазин, по тому, как небрежно швырнули в портфель дорогие бутылки, Галактион почувствовал в них особо богатых людей, кто постоянно сорит деньгами, заведомо зная, что их богатство от этого не убудет.

— Во как бывает! — шепнул восхищенно Галактион.

К нему обернулись:

— Завидуешь?

— Не-е. Спрашиваю себя: откудава эдаки деньги?

— Надо уметь.

Галактион, уже выйдя из магазина, придержал одного из покупателей за рукав:

— Вы кто? Поди-ко, кооператоры?

— Экспроприаторы! — рассмеялись мужчины и, проблеснув застежками курток, споро направились к мостовой, где дожидался их черный Фольксваген.

Галактион и думать не намерялся, что встретит когда-нибудь этих ребят. И вот повстречался на конной, забытой не только людьми, но и богом дороге. И понял, что это и есть скотокрады, те самые, коих толкает к разбою извечный призыв — захватить и уйти. А если возникнет свидетель, то сделать все так, чтобы он ничего никому не сказал.

На убитом следами скотном дворе, где доярки встречали коров, Галактион задерживаться не стал. Ему прокричали вдогонку:

— Галька?! Семнадцать коров! Осемнадцатой нет?

— И у меня одной не хватает!

Пастух обернулся:

— Потом! — и пригнувшись к шее коня, без привычной кирзовой кепки, которая где-то выпала на скаку, с прижато-слежалыми волосами, умчался в деревню.

К делу или безделю, у крайнего с мезонинчиком дома пастух столкнулся с Моховиковым, председателем сельсовета, от кого на сто метров шибало вином. Моховиков был солиден — с большим животом, большой головой, в клетковатом с резинкой по поясу пиджаке и в заломленной в ворота белой рубашке. Густо окиданная багрянцем бревнистая шея его подсказывала о том, что водки выпито им прилично.

— Арнольд Алексеевич! — Галактион осадил Гнедка. — Городские гадючки отбили от стада коров!

— Так! — Председатель, уже зайдя на крыльцо, мешковато остановился, подправил под локтем матерчатый сверток и, вскинув тугой подбородок, уперся глазами в Галактиона. — Сколько их? Где?

— Двое! На конском проселке! Как раз у Пероськой поляны. Там и машина у стервцов!

— Шакалы! — ругнулся Моховиков. — Промышляют по всей России. До нас добрались. Ну и чего теперь?

— Надо людей! Захватить их, как псов, покудова не удрали!

— Может, милицию?

Пастух воспротивился:

— Далеко, не успеет. Надо своих, деревенских! Братьев Красновых! Олеху Титова! С ружьями чтобы! С пустыми руками их не сгребешь: оба при пушках.

— Что ж! — согласился Моховиков. — Сколько до этой поляны?

— С версту.

— Нужна, выходит, еще и машина.

— Машину искать недосуг! — Галактион, скрипнув кожей седла, показал на приткнутый к столбу палисадника мотоцикл. — Это чей?

— Мой, — ответил Моховиков.

— Вот на нем! И еще на Красновском! Гоните к поляне! — Пастух горячился, не замечая, как в голос его проник повелительный тон.

— Ну а ты? — спросил председатель.

— Я туда! К гостенькам! Али может сюда? Сшеvelyнуть мужиков? Абы сразу. Не мешкая!

— За мужиками я сам! Не волнуйся! — заверил Моховиков. — Вот только снесу бабке Ниссе пододеяльник.

Лицо пастуха, как взломало:

— Какой еще там одеяльник?!

Моховиков объяснил:

— Премия! Поощряем всех бывших тружеников колхоза. Десять штук на вашу деревню. Девятерым уже роздал. Остался последний.

— Тут коровы, а он! — нервно вскрикнул Галактион, разворачивая Гнедка.

— Ну чего ты! Чего! — Моховиков широко улыбался — сама уверенность и поддержка.— Мы счас! Мы сходу! Всех твоих гангстеров переловим! Никто не уйдет!

Некогда было Галактиону вести с председателем тары-бары. Хлопнул Гнедка сапогами — и полетел, покачиваясь в седле.

Слушая топот коня, скакавшего по бездорожице новым, более близким путем — через пожню, карьер и горелый прилесок, пастух костерил председателя, как супостата:

— Виноглот ненасытный! Сколь в деревне старух, столь и стопариков запрокинул! Изловишь ты гангстеров, жди. Людей-то хотя бы поднял. Не одному ж мне там выставать...

К председателю сельской власти, вечно поддатому Моховикову, Галактион, как и всякий разумный мужик, относился с беззлобной насмешкой, прощая заранее все его чудеса, благо от них ничем не старался. И сегодня бы тоже не пострадал, кабы поднял людей на подмогу. Откуда ему было знать, что Арнольд Алексеевич все испортит. У Ниссы, добрейшей пенсионерки, Моховиков задержался на то лишь короткое время, покуда вручал ей пододеяльник да принимал от нее налитый с краями стакан. Стакан и подвел его, сделав мгновенно косноязычным, и рьяный призыв, с которым он обратился вскорости к братьям Красновым, рисуя им обстановку, в какую попал колхозный пастух, был ими воспринят, как бред в стельку пьяного выпивохи. Отчего его тут же уклали в постель.

Узнать об этом Галактиону было не суждено. Гнедок доставил его к поляне уже в темноте.

Впрочем, здесь, на поляне было светлее, чем днем. Там, где стояла копна, золотился костер. В свете его, на красневшей от крови траве дымились две шкуры. Галактион перебито вздохнул и увидел сквозь сено в кузове автомашины глыбы разрубленных туш.

Здесь, конечно, его не ждали. Разделав коров, скоторезы спустились к ручью, чтобы там поотмыться. И вот, возвращаясь к машине, при виде коня с верховым, напряженно переглянулись.

Галактион, как навстречу судьбе, выехал к ним, махая поднятым кулаком:

— Не уходите, соколики! Я — не один! — и пихнул кулачище к кустам на дороге, откуда должны были выскочить мотоциклы.

Метрах в трехстах, где асфальтовая дорога, пропороло сквозь выемки узким лучом. Подождали все трое, слушая дальний мотор, голос которого, чуть приблизившись, стал удаляться.

Скотобои повеселели. И не успел пастух стронуться с места, как шевельнули руками, выставя из-под курток нацеленные стволы.

— Ты должен исчезнуть,— сказали ему.

— Это как? — плохо понял Галактион.

— Как свидетель.

— И вы исчезнуть, но только без этого вон добра! — Пастух показал на кузов с нарубленным мясом.

— Не понимает,— вздохнул сухощавый. А коренастый с ленивой властью приказал:

— Слезай! А то и клячу твою заодно продырявим.

И только тут верховой почувствовал обреченность. Спаситься уже было нельзя.

— Аль вы не русские! — крикнул, и голос его, подхваченный ветром, рванулся в осеннюю темноту.

— Мерзавцы! — добавил Галактион.

Тут раздался короткий щелчок. И второй. Ударило в грудь, и пастух, оседа с конем, почувствовал сердцем жестокое жженье, которое вытерпеть было нельзя.

Уже на земле, свалившись с Гнедком в жаркий пепел костра, он услышал шаги. К нему подошли. Проверяя: живой ли, опытно наклонились. И что-то сказали. Однако пастух, как на том берегу, и хотел бы услышать да не услышал.

1997 г.

РОДЯ

Как только апрельское солнце растопит снега, как только дорога чуть пообсохнет, тут и пожалует Родя — большеголовый, с горбом, на тоненьких ножках, обутом в лиловые башмаки. Смотришь, как он неторопко ступает по мягкой обочине, весь какой-то подсвеченный изнутри, с лучающимися глазами, в неизносимом оранжевом пиджаке и веришь, что он явился сюда как посланец блаженного мира.

Жители нашего городка знают Родю, как странника-пилигрима, кто не имеет ни пропитания, ни семьи, ни денег, ни крыши над головой. Засыпает он, где попало, вернее там, где застигают его потемки: порой на скамье задичавшего сада, порой на канатах парома, порой в надбережных кустах. Конечно, не против бы он ночевать в человечесьем гнезде. Однако туда не пускают. Как только увидят, что он, глядя на ночь, ступает к жилью, так скорее к дверям, чтобы их — на замок. Странник, само собой, не стучится. Постоит перед дверью секунду-другую, кивнет головой и тихонько отправится прочь.

Ест Родя мало. Что подадут. Подавали же редко и скупо. Самим не хватает. За лето он обходил почти все городские дома. Обходил и дворы в деревнях, что лежали от города в нескольких километрах. Большинство его принимало за дурачка, затеявая с ним шутовской разговор.

— Что-то, Родя, тебя не видать было целую зиму! Где побывал?

— В будущем! — весело скалится странник.

— Ну и как там житье?

— Сытое! Даже очень!

— Отчего тогда к нам-то вернулся?

Родя рад объяснить:

— Там народ занятой. Весь в работе. Даже после работы работает. Задушных бесед там не водится. Не бывает. А без них мне — никак. Сердце ноет, и где-то к весне я болею тоской.

— Значит, к нам прибываешь больной?

Соглашается Родя:

— Больной. А от вас туда в полном здраве!

— А каким макарон ты переходишь из нашего времени в то, которое будет?

— Включаю высокую мысль. Там у нас есть особый диспетчер. Он вступает со мной в контакт и пускает сюда энергический зонд. Зонд находит меня и я таю, делаюсь тут же прозрачным, как воздух. Воздухом я и смещаюсь туда, откуда вернулся.

— Ну а деньги дают тебе на дорогу?

Родя искренне удивлен:

— А на кой они мне?

Ему несердито пеняют:

— И тупой же ты, Родя! Здесь у нас без рублей сам мэр города ноги протянет.

Я не мэр! — улыбается Родя. — Мне еда как-то даром. Могу и вообще без нее.

Роде больше не верят, чем верят. Однако расспрашивают с охотой. Кто из грешных не любит, когда вещают о предстоящем! Тем более странник способен поведать: кто на котором году разорится, кто попадетя на воровстве, кого и за что прогонят с работы, кому и как скоро изменит жена.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивают его.

— Оттуда и знаю, — сияет Родя всем своим долгощеким лицом, — что я — вечнойжитель. Считайте, что нынче живу рядом с вами. А после, где-то под осень, когда отбуду от вас лет на восемьдесят вперед, то вместо вас будут рядом со мной ваши внуки.

— Но их у нас нет! — смеются над Родей.

— Это здесь, в настоящем, их нет. А в будущем есть. Я даже знаю, как их зовут.

Вновь не верят ему. Однако расспрашивают пристрасно:

— А война, Родя, будет?

Странник грустно вздыхает:

— Не война, а содом.

— А в содоме чего? Многие, что ли, погибнут?

Есть вопросы, которые Роде не по нутру. Он, естественно, может на них и ответить. Но не ответит. Только даст деликатно понять:

— Этого я не скажу. Не хочу вас расстраивать прежде срока.

Но не все в нашем городе относились к Роде сердечно. Кое-кто и побавался его, ибо все, что предсказывал странник, сбывалось. Кто-то ночь проводил с чернобровой женой соседа и его застигали врасплох. Кто-то речи толкал о спасении нищей России, сам же тайно сплавлял за границу российский товар. Кто-то дважды в году попадал в вытрезвитель, где ему каждый раз наминали бока. Эти люди его сторонились, старались с ним никогда не встречаться, так как знали грехи за собой и боялись, что все они, всплыв, станут притчею во языцех.

Не смотря на свое преимущество странник был в предсказаниях осторожен. Не все обязательно знать человеку: и потому, что он может перепугаться, и потому, что любому из нынешних, что бы Родя не предрекал, невозможно помочь. Ведь для Роды все люди, с которыми он сегодня живет, — промелькнувшие. Их уже нет. Все в былом. Оттого ему очень неловко бывает, когда побуждают поведать о чем-то недобром.

Вот и сегодня по теплому летнему предвечерью он оказался в компании слишком пытливых людей, куда попадать он не собирался. Однако его не спросили: надо это ему или нет? Двое довольно приличных, здорового складу мужчин затащили его в кафе, где у помощника мэра Игоря Юрьевича Сучкова справлялась трехлетняя годовщина начала работы на этом посту.

Стол был заставлен тарелками с балыками, парой бутылок Наполеона, Смирновкой в графинах и миской с дымящейся в ней стерляжьей ухой. Пир шел горой. Игорь Юрьевич, толстоплечий, но с лысоватой маленькой головой, сидевший среди преданных сослуживцев, при виде Роды, которого двое его порученцев ввели в густо пахнущий яствами зал, широко улыбнулся:

— Сюда его! Рядом! — И хлопнул рукой по свободному стулу.

Родя с его худощаво-костистым лицом, тощей шеей, горбом и оранжевым пиджаком был нелеп среди одетых в костюмы сановных мужчин.

Зал был слишком велик для гуляющей кучки. Однако нравилось всем, что они тут одни.

На душе у Роды было тоскливо. Он сидел перед сильными, не нуждавшимися ни в чем удачливыми чинами. Сидел неприкрытый и беззащитный, не подготовленный для дурачества, ради которых его и поймали, полагая, что он будет всех потешать.

Игорь Юрьевич вскинул руку, призывая всех к порядку и тишине.

— И с чего мы начнем? — обратился к столу, хотя спрашивал только Родю. — Может быть, с политических комментариев?

Брови у Роды вспорхнули:

— Нет.

— Политика, что ли, тебя не волнует? — добавил Сучков.

— Пугает, — сказал ему Родя.

— А почему? — допытывался Сучков.

— Потому, что она уводит людей не туда, куда надо.

— Это общее. — Игорь Юрьевич пододвинул Роде фужер с коньяком.

— Я не пью, — отказался Родя.

Игорь Юрьевич не поверил:

— Знаю этих непьющих. Пей!

Родя вновь отказался:

— Не буду.

Рассмеялся Сучков:

— Раз попал в наше логово — значит, будешь! Как вы думаете, ребятаки? — Не только голосом, но и плавным наклоном маленькой головы Игорь Юрьевич дал понять, что он ждет от коллег немедленных действий.

Родя опомниться не успел, как вскочившие, хохоча, окружили его. Кто-то взял его за предплечья. Кто-то голову оттянул. Кто-то с силой открыл ему рот. Кто-то влил туда полный фужер.

Выпивать Роде было нельзя. Выпивши, он терял деликатность, мог вспылить и сказать собеседнику то, от чего, сломя голову, убегают. Но чего уж

теперь. Родя покачивался на стуле. В мозгах неистовал ураган. И тут в урагане послышался голос:

— Кто я такой, надеюсь, ты знаешь? — Игорь Юрьевич потешался, подмигивая дружкам, мол, сейчас я его ображаю, и начнется потешный концерт.

Родя мутно уставился на Сучкова.

— Вор! — сказал ему очень внятно.

Это было так неожиданно, что все обалдело выпучили глаза. Но замешательство было секундным. В другую секунду кто-то, забывшись, хихикнул, и тут все кафе сотряслось от могучего смеха.

Игорь Юрьевич, страшно довольный, с веселыми складками на лице, помахал кулаком.

— А что меня ждет впереди?

Родя поднял фужер, посмотрел в его самое дно и размеренно, как читая вещь книгу, сказал:

— Зона с работой в лесу сучкорубом в течение двух архангельских зим.

Снова хохот. И снова Сучков помахал кулаком.

— А потом? — потребовал он.

— А потом лагерная больница.

Смех убавился.

— А после больницы?

— А после — погост.

Стало тихо и напряженно. Игорь Юрьевич даже где-то внутри подобрался, не показывая обиды.

— Трепло ты, а не вещун! — раздраженно сказал.— Все-то врешь! Год назад я с тобой разговаривал. Помнишь?

Родя помнил:

— От слова до слова.

— Тогда ты накаркал,— продолжил Сучков,— будто бы я какому-то ангелу крылья переломаяю. Но я ни чертей, ни ангелов не встречал. И вообще ни к кому даже пальцем не прикоснулся.

Родя тихо сказал:

— Год еще не прошел. День остался. Сегодняшний.

— Ладно, уродушка! Что с тобой делать? Ври дальше! Скажи, что приятного будет со мной в предстоящем году?

— Нынче в тюрьму тебя не посадят.

— Это само собой,— согласился Сучков.— А еще чего?

— Все.

— Стало быть, лишь одни неприятности обещаешь?

— А чего обещать! Так и так они будут. Без обещаний.

— Например? — Игорь Юрьевич встал, резко сбросил пиджак, посадив его на высокую спинку стула.

— Эти вон подхалимы-опричники,— Родя ткнул пальцем в воздух, целясь в каждого, кто сидел за столом,— по колхозам и лесопунктам будут скупать по дешевке пиловочный лес. Они скупать, а ты отправлять его за доллары иностранцам. А это опасно. Трястись тебе, Юрьевич, по ночам, ожидая конвоира.

Щеки Сучкова яблоками покрылись.

— Кого вы сюда привели? — прошептал он, вздрагивая плечами.— А? — вскричал, не управившись с гневом.— Вышвырните его!

Собутыльники бросились к Роде. Оторвали от стула. Вскинули руки ему, да так, что они захрустели в локтях. Бросили на пол и стали топтать.

— Вы с ума сошли! Идиоты! Не здесь! — заорал Игорь Юрьевич.

— А куда нам его?

— Да хотя бы во двор! Упоите до усмерти водкой и сдайте! Сдайте, черт побери, в вытрезвитель!

Родю вынесли с заднего хода во двор. Раскачали и кинули, что было силы, с крыльца. Кто-то из самых догадливых подбежал к нему с поллитровкой спиртного. Вылил в рот.

...Через десять минут к запасному крыльцу кафе подкатил милицейский “уазик”. Родя был помещен в вытрезвитель. И хотя он не брыкался, не лягался, не матюкался, его раздели и привязали тесемками к койке.

Утром за ним явились, чтоб увести в отделение на допрос. Однако на койке поверх одеяла лежал не Родя, а клоч бумаги, на котором расшатым почерком очень пьяного человека были выведены слова: “Отправляюсь туда, где не пьют. До встречи в следующем году. Родион”.

1998 г.

УЛЫБНУВШАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Не ходил бы Колька Дьячков вообще в лесопунктовский клуб на танцы, да надеялся встретить ту, с кем однажды, сладко робея, он пройдет по ночному поселку и, учуяв в груди трепетание сердца, поймет, что это и есть впечатление от наступившей его любви. Однако ему не везет. Ни одна из девчат не открыла в нем своего жениха, с которым хотела б остаться с глазу на глаз, принимая Колькины вздохи, поглядки и поцелуи. Неизвестно, как вел бы себя

он на этих танцах и дальше, кабы не Шура Щуровский, красивый задиристый холостяк, кто никого не стесняется, лезет всегда на рожон и безошибочно чувствует девушек легкого поведения.

С Шурой Колька живет по соседству. Дома через улицу. Так что видятся каждый день. Поглядеть, когда они вместе,— значит поверить: друзья, хотя особой приязни ни тот ни другой не испытывают друг к другу. Встретятся, размахнутся руками, бросят ладонь на ладонь, поговорят в лучшем случае — и конец. Да оно и понятно. Колька видит в Щуровском старого парня, кому не жениться, наверное, никогда. Щуровский же видит в Кольке молокососа, с кем не будешь на равных ни водку глушить, ни ходить, глядя на ночь, к приманчивым молодухам.

Шура к танцам тоже не очень-то расположен. Выползает на них в те лишь дни, когда от него сбегает подруга.

Чтобы зря не скучать и напрасно время не тратить, появляется он на танцах в самом конце. Ему хватает минут двадцати — окинуть опытным взором всех подходящих девчат, выделив бойких, стеснительных и капризных, в равной мере как стройных, тонких и налитых, отсеять ненужных от нужных и под игру последней пластинки броситься в омут танцующих и, поймав симпатичную рыбку, выплыть с нею из клуба в простор прохлады и тишины.

Сегодня Щуровский остался, кажется, без улова. Стоит рядом с Колькой около столика с радиолой. Волосы длинные и густые, будто парик. Одет вызывающе просто — в потертые джинсы, пиджак и рубаху с воротом нараспашку. Еще раз окинув взглядом наполненный танцующими парами зал, кладет на плечо Кольки руку и будто бы жалуется ему:

— Одни цацы и промокашки. По губе — да не по моей!

Колька ему не сочувствует. Он и сам бы пожаловаться не прочь. Да какой от этого толк? Целый вечер он наблюдает за девушкой в бархатном платье с красивыми черными волосами, в которых сияла заколка, напоминающая звезду. Девушку эту он видел впервые. То ли взглядом своим, случайно брошенным на Дьячкова, то ли спокойной улыбкой, обращавшейся к каждому и ко всем, то ли еще чем таким не особо понятным, но подсекла она Колькино сердце. Подсекла мгновенно, до радостной боли, и Колька, не зная, как ему быть, клянет себя мысленно за несмелость. А тут еще Шура над самым ухом бубнит, как весенний глухарь на току:

— Будет. Пойду-ко отсюда. Впустую вечер похоронил.— И вдруг без всякого перехода спрашивает Дьячкова: — Ты-то хоть взял кого на прицел?

Колька теряется:

— Взят.— И кивает на девушку с красной заколкой, проплывшую в паре с нездешним танцором.

Оценочным взглядом бывалого кавалера Щуровский отметил, что девушка сложена хорошо. Правда слегка полновата. А в остальном — ничего. И лицо симпатично. Откуда взялась? И вспомнил, что видел ее на неделе в столовой. Значит, из новеньких. Верно, закончила кулинарный и вот приехала к ним на работу.

“А у Дьячонка губа не дура,— завидует Шура,— только едва ли чего от нее он отломит. Девушка-крепость. Такой завладеть мудрено. Однако чего не бывает. А вдруг повезет?” И он поворачивается к Дьячкову.

— Поди,—подталкивает его,— станцуй напоследок и загребай с ней, куда тебе надо!

— Ты что-о?! — задыхается Колька, сопротивляясь, будто его посылают на верную драку.— Не видишь? Вон выставень-от большой. Ходит около, как привязан.

— Покажи, покажи.

— Вон улыбается! Зуб во рту золотой. С кудрявыми патлами-то который! Щуровский спускает с губ снисходительную улыбку:

— Баран-то вон этот?

— Баран! — соглашается Колька и добавляет: — Вроде не наш он, не митинский — гусь залетный.

Лицо у Щуровского багровеет.

— Девоч у нас отымать! — Кабы не музыка радиолы, все бы сейчас услышали Шуру, настолько громко он возмутился.— Не выйдет! Мы тебе живо рога поубавим! — И проехал ладонью по круглой Колькиной голове.— Не все потеряно. Дьяче! Ты меня поня-ял?

Колька почувствовал: Шура затеял что-то плохое. Хотел его было отговорить, да подумал: “Зачем? Почему бы и в самом деле барана этого не отшить? Не дать ему девушку увести. Пусть уж она никому не достанется в этот вечер. А там,— ухмыляется Колька,— там поглядим” — и, накаляясь от нетерпения, грубым голосом отвечает:

— Понял, веселую душу!

Обрывается музыка. Грохот стульев. Мельканье рук, на которых взвиваются рукава полушубков, пальто и курток. Все спешат побыстрее одеться. Скрежет распахнутой двери. Толпа на крыльце. Толпа под крыльцом. Но дальше, где два прогона тесовых мостков, дорога, канавы и тропы, толпу будто кто разорвал, рассыпав отдельными кучками по поселку.

На улице сумрачно и промозгло. По стылой дороге бегут осторожные лапы белой поземки. Вверху проблеснула луна. Сквозь перья раздерганных туч похожа она на унылую голову над обрывом.

Шура с Колькой идут, приготовясь к шальному. Перед ними та самая

пара. Прикасясь друг к другу плечами, о чем-то ведут разговор. Девушка — в красном пальто и вязаной шапке с шарами. Ее провожатый — в стеганой куртке с откинутым за спину капюшоном.

Дьячкову не очень-то по себе. Мучает совесть. Однако он держится, притворяясь, будто сейчас ему все нипочем.

Шуре же интересно. Охота взглянуть, как поведет себя этот танцор, едва он останется с ними без посторонних?

Щуровский отсчитывает огни в окнах стандартного дома, после — барака, а там — пятистенка с высокой, почти до самого неба антенной. “За десятым огнем”,—загадывает с ухмылкой, стараясь выбрать местечко погуще, где б не могло оказаться случайных людей.

За десятым огнем — забитый сухой лебедой пустырек, а за ним опять — длинный ряд подзолоченных светом вечерних окошек.

— Ты-ы! Возникло! — командует Шура.

Парочка, кажется, всполошилась. Остановились и смотрят на проступающие в потемках фигуры Шуры и Кольки. Девушка вскидывает лицо,— вероятно, глядит на парня, требуя от него, чтобы он защитил. Парень растерянно мнетяся. Наконец, повернувшись не только шеей, но и плечом, спрашивает негромко:

— Чего это вы-ы?

— Девчошечка, ты давай топ-топ по дорожке! — Щуровский, вытянув руку, показывает вперед.— Понадобись — найдем. А ты, как тебя там? — обращается к парню.— Перекури! Да от девули-то отцепись. Отпусти ее ручку. Во-о так!

— Ну чего? — Парень угрюмо перебирает пальцами рук полы капроновой куртки. Видно встревожился не на шутку. Однако готов подождать и выяснить что будет дальше?

Улыбается Шура:

— Что, Вася?

Парень его поправляет:

— Митя.

— Ну, Митя. Как видишь: желаем с тобой мал-малю пообщаться.

Митя уныло вздыхает:

— Вас двое.

Шура глядит на дорогу, где постепенно мельчает уходящий от них девичий силуэт. Потом переводит глаза на Дьячкова.

— Говорить будешь с ним,— показывает на Кольку,— а я отойду или лучше совсем от вас отшвартую.

Дьячков захлопал ресницами, возмущаясь. Такого от Шуры не ожидал. Митя в два раза его тяжелее. Вон какие ручищи! Раз заденет по голове — всю жизнь ее будешь носить внаклонку.

Однако и Митя смущен не меньше, чем Колька, ибо Щуровский, сделав пяток шагов по дороге, вдруг оглянувшись, давая ему совет:

— Будь поувертливей, Митя! Колюха — боксер! Не каждый умеет с ним долго держаться! Но ты здоровяк. Коль будешь стараться, то, может быть, перед ним и не лягешь!

Колюха, услышав такую легенду, сначала не понял, что это о нем. А когда домекнул, то почувствовал наглость и моментально повеселел. Однако Щуровский еще не закончил:

— Но самое главное, Митя: он зол на тебя! Потому как ты танцевал весь вечер с его налитухой, а напоследок еще ее и увел!

Лиго у Мити поехало вниз, удлинясь и удлинясь.

— Катю-то, что ли? — невнятно спросил.

— Екатерину! — Это сказал уже Колька. Крепко сказал, уверенно и нахально.

— Я, ребята, не знал, — Митя скис, наклонил кучерявую голову, глядя себе на ботинки.

Колька даже его пожалел.

— А живешь-то ты где?

Митя чутко насторожился:

— В Поповской.

— Это за пять километров?

— За пять.

И тут Дьячков, сочувствуя Мите, великодушно расправил грудь и спросил, изъявляя свою готовность:

— Проводить тебя?

— Нет, ребята! — Митя затряс руками и головой. — Я сам! — И шагнул с обочины за канаву.

— Не заблудишься? — уже в спину ему добавил Щуровский.

— Не-е! — ломая мерзлую лебеду, Митя рванул напрямую по пустырьку, за которым шагах в сорока проходила проселочная дорога.

Послушав треск удаляющихся шагов, Колька с Шурой пересмехнулись, сошлись друг с другом, взмахнули руками и, припечатав ладонь о ладонь, обмолвились между собою. Сначала Колька:

— Парень-то вроде хороший.

Однако Шура сказал о Мите чуть поточней:

— Под впечатлением силы хороший. Иначе был бы — худой. — И, поглядев на Дьячкова настойчивым взглядом, ткнул указательным пальцем: — Теперь догоняй!

Колька даже ослаб.

— Это кого?

- Катерину!
- Прямо сейчас?
- А когда!

Дьячков машинально толкнулся вперед и пошел по волокнам дорожной поземки, однако в ногах его резко застопорило, словно кто-то их не пускал, ломая походку с первого шага. И он побито остановился:

- После такого — да догонять?
- Боишься?

И что за привычка у этого Шуры всегда подзуживать там, где может случиться какая-нибудь заварушка. Нет, не боится Колька, скорее — стыдится.

Он как бы чуял границу, к которой сейчас подошел, с тревогой в душе ощущая, что в нем схлестнулись, встав друг на друга, с одной стороны, бессердечие и нахальство, с другой — благородство, порядочность, совесть и честь.

- Не смею,— сказал Дьячков, опуская глаза.
- Может, мне за тебя?

Что-то новое было в Шурином предложении.

- Это как?

Щуровский с готовностью пояснил:

- Чтoб о тебе назавтра договориться.
- О чем?
- О встрече! Или ты, может быть, уже передумал?
- Не передумал.
- Дак вот! За этим я и сгуляю.

Сердце у Кольки так и кругнулось. Возможно ли это? Да нет. Наверно, Щуровский смеется. А если он и всерьез, то едва ли чего из этого выйдет. И Колька сплюнул:

- Да брось.

Но Шура воскликнул, как одержимый:

— Попытка — не пытка! Надо дерзать! Считаю, что тебе повезло! Сделаю, как сказал, если, конечно, не опоздаю...

Шура уже заскрипел ботинками по поземке, спина его стала сливаться с белесою мглой, когда Дьячков, охваченный ревностью и расстройством, взмахнул руками и нерешительно крикнул:

- Может, и мне с тобой?

— Нет! — обернулся Щуровский.— Такие дела обряжают один на один. Нехотя, ощущая затылком повитый спежинками ветер, Колька пустился назад.

Митинский Мост засыпал. Редели огни. От ольхового перелеска по скупо приснеженным грядам текла слепая ноябрьская темнота.

Сам не зная зачем, Дьячков свернул в поперечный заулочек, прошел параллельно двум огородам и оказался на берегу. Было здесь глухо и неприятно. Чернела внизу вода. Уснувшая медленная вода, недавно покрытая льдом, но теперь после трех теплых дней вновь свободная от него, вся в ожидании новой устойчивой стужи, которая в эту ночь, видимо, спутится к вялой Волошке и снова накроет ее серебрищимся льдом.

Домой Колька не торопился. Ждал возвращения Шуры. Что он ему принесет? Хорошую весть? Худую? Была половина первого ночи. Пора бы Шуру уже и вернуться. Однако дорога была совершенно безлюдной. Подождав еще с четверть часа, Колька досадливо встрепенулся. “Да он, поди, дома! Прохлопал ушами, куда ходил на Волошку. Ну да и я, глухая тетеря. Жди вот теперь до утра”.

Впрочем, ждать оставалось Кольке недолго. Ночь не в счет. Потому что он спал, не заметив, как пролетели ее часы. И утра бы чуть-чуть прихватил, так приятен был сон, да отец стащил с него одеяло, и Колька поднялся, не сразу смекая: куда и зачем ему надо спешить? Но минуту спустя обомлело моргнув, вспомнил все, что сегодня его ожидает, и резво бросился одеваться. А потом, торопливо позавтракав, так же резво сорвал с заборки фуфайку и шапку и, скрипя по напавшему за ночь снежку, пошел через двор и дорогу к дому напротив. Тут он счастливо остановился, встав ногой на ступеньку крыльца, чтоб, дождавшись Щуровского, вместе с ним пойти на берег Волошки, где они расчищают участок для штабелей.

Дверь открылась, и в ней показался Щуровский.

— Ждешь? — Шура одет, как и Колька, в закоженевший от смол и масел поношенный ватник, шапку с матерчатым верхом и туго обнявшие ноги широкие кирзачи. Лицо у него припухшее, с синеватостью под глазами — спал, вероятно, тоже недолго. Но голос задорист и свеж.

— Слушай, Дьячок! — Выходя из калитки, Шура нездешним, страшно широким, прямо-таки генеральским жестом руки притянул к себе Кольку и, оглянувшись по сторонам, заговорил, как заговорщик: — Виделся! — И полешачьи отчаянно подмигнул. — Во так! А ты сомневался. Конечно, за однократку многого не добьешься. Но главное сделано! Проявила к тебе интерес! Готова сегодня взглянуть на тебя. Так что, Колюха, давай! Подавай себя в форме!

“Врет или нет? — мучился Колька, не доверяя Щуровскому до конца. — Уж больно все по его рассказу гладко выходит. Как будто она поджидала Шуру нарочно, чтоб он позаботился обо мне?” Хотелось бы верить в то, что поведал ему Щуровский. Однако грыз червь сомнений. И Колька на всякий случай спросил:

— А где ты ее увидел?

Шуру вопрос врасплох не застал.

— Ждала. Не меня, конечно. Того! Ну, патлатого Митю. Я ей культурненько все объяснил. А потом спросил: может, ей этот Митя не безразличен? Так она мне ответила что? “Ничего,— говорит,— парнишка. Только мне он от чего-то не очень”. Тут я снова ей четкий вопрос: почему тогда он провожал? “Да никто,— отвечает,— никто, кроме Мити, меня на танцульках этих не приметил. Каб приметил, то всяко б ко мне подошел”. Вот так-то, Колюха! А ты все стесняешься да боишься! С этими девками надо смелей! Крепость не крепость, бери ее с ходу!

Колька проникся доверием к Шуру. “Пожалуй, не врет”. И вдруг встрепенулся, вспомнив, что Шура о самом-то главном ему ничего не сказал.

— Ну, а встречаться-то где? — осторожно напомнил.— Да и во сколько часов?

— О-о! — Шуровский хватил ладонью себя по шапке, чуть не сшибая ее с головы.— Извини! Упустил из виду! Столовая знаешь где?

— Ну, ты и спросишь.

— Дак там. Жди, когда закрывать ее станут. В это время она и выйдет...

Колька мотнул головой, рассеянно радуясь и смущаясь. Именно с этой минуты все, что было возле него и вокруг — Шуровский, дорога, разрытый ножами бульдозеров берег реки, пни, руки в брезентовых рукавицах, зацепляющие эти пни многожильными чокерами, запах стылой земли, представлялись ему, как попутчики, что ступали с ним вместе к вечеру подпаленного легким морозцем ноябрьского дня, в котором он встретится с Катериной.

И вот он дождался. Восемь часов. Колька стоял у калитки напротив столовой в брезге лампочки под столбом.

Скрип распахнувшейся двери. Шаги. Сквозь погустевшие сумерки можно было заметить мохеровый шарфик, пальто, купол вязаной шапки. Она! Лицо ее разглядел он шагов с десяти. А шагов с пяти разглядел и глаза. Удлиненные, с низким навесом бровей, были глаза неподвижно-дремотны, казалось, они что-то силились вспомнить, жили вчерашним и сегодняшним день разглядеть не могли.

Она бы прошла, так Дьячкова и не заметив. Да он оттолкнулся спиной от столба. Катерина примедлила шаг.

— Значит, я вот пришел,— выдавил Колька.

— Что — пришел? — Она на секунду остановилась.

— Дак ведь пришел-то к тебе.

Она окинула парня чуть снисходительным, в то же время насмешливым взглядом, как бы давая ему понять, что она себя ставит очень высоко и по

этой причине ей Колька не подойдет. “Мужского не вижу”,— прочиталось еще ему в этом взгляде, и он покраснел, сгорая весь от стыда.

— Зря,— сказала она, будто щелкнув Кольку обидным щелчком по носу, и, грациозно качая плечами, двинулась по мосткам.

Колька горько вздохнул. Отошел от столба. И уставился взглядом в пространство двора, где темнел дровяник. За распахнутой дверью его, показалось ему, будто кто-то стоял, наблюдая за ним, чтоб потом растрезвонить о Колькиной встрече на весь поселок. Колька медленно поднял руку в перчатке, сжал ее с силой и глухо сказал:

— Только попробуй.

На другое утро он снова шел на работу с Шурой Щуровским. Тот сочувственно слушал его, и когда Дьячков замолчал, разрубил рукой воздух и набросился на него:

— Сам виноват! С девками надо не так! Они любят напор! Как пошел, как пошел! Где словами, а где и руками! Глядишь — уже и расслабла! Бери ее — ешь...

Чувствовал Колька, что он Катерине не пара. Забыть бы ему ее. Да не мог.

Вечером он опять ее дождался. На этот раз невдали от барака, где Катерина жила, занимая одну из комнат с окном, выходившим на огород. Стоял он за толстой елкой, рядом с поленницей и готовился выйти, как только ее разглядит.

И вот она рядом. Скрипит под ногами снег. Все ближе и ближе. Мохеровый шарфик, пальто, оборка плескучего платья, сапожки. Пора выходить. Но решил подождать. И не вышел. Почувствовал: будет такой же опять разговор, как вчера. А такого ему не хотелось.

И на третий вечер он дождался. И на четвертый. Вновь и вновь не решался выбраться из-за елки. Так и стоял, унимая ладонью сердце, раскодившееся в груди.

И только в воскресный вечер ему улыбнулась возможность увидеться с девушкой с глазу на глаз. Накануне, в субботу, он встретился с нею около магазина. Поздоровался с ней. Она посмотрела на Кольку, как на случайного человека, кто однажды о чем-то с ней говорил, только ей вспоминать об этом неинтересно.

— Завтра к нам приезжают из города самодеятельные артисты,— сказал он, кивая в сторону клуба.

Она безучастно пожала плечами:

— И что же из этого?

— Будет концерт!

— Ты хочешь меня пригласить?— Она отпустила Кольке скупую-скупую улыбку. Даже и не улыбку, а слабую тень от нее.

— Хочу!

— А чего? Может быть, и приду.

Щеки у Кольки пыхнули, он заморгал и, волнуясь, сказал, словно бросился в прорубь:

— Я тебя подожду!

— Подожди! — Казалось, она должна была вновь улыбнуться. И улыбнуться уже настоящей улыбкой, однако лицо ее было спокойным. Наверное, эту улыбку она берегла для другого. Но Колька был рад все равно. Глядя ей вслед, как она поднималась по длинным ступенькам крыльца, он хотел было крикнуть: “Я найду за тобой!” Но он не успел. Дверь магазина захлопнулась, загородив от него Катерину, и Колька пошел потихоньку домой.

И вот воскресенье. Семь вечера. Возле клуба народ. Все торопятся, все суетятся. Прибауточки, говор, смех.

Плеснула струнами балалайка. Концерт начался. Все глядят на приезжих артистов. Слушают песни, музыку и стихи. Один лишь Дьячков в одиночестве ходит около клуба. Ждет Катерину.

Целый час проходил он, бессмысленно дожидаясь. “Почему не пришла? Может быть, заболела? — думает он.— А что, если я загляну к ней в барак?! Узнаю, в чем дело?”

Подходя к семейному, в шесть дверей и крылец бараку, Колька окинул глазами окно, где должна была жить Катерина, и растерянно заморгал. Окно зияло темным квадратом. Вероятно, легла уже спать. Колька ткнул кулаком под ребро. “Проманежил, веселую душу”. Пиная жесткую, как кустарник, дворовую череду, он пошел вдоль хлевов, в которых пытели наевшиеся коровы. Он уж было свернул, чтоб пойти напрямую домой, да услышал негромкое борканье батога, с каким открывалась дверь в середине барака, и в ней показались два силуэта. Да, да, та самая дверь, куда так хотелось ему проникнуть. Дверь открылась и сразу закрылась, а на крыльце объявился здоровый детина. “Шура-а? — смутился Дьячков.— Чего ему здесь?” И сразу смекнул, что Щуровский ходил к Катерине не для беседы. На какие-то две-три секунды он обомлел, почувствовал, как под сердце его проник холодок непредвиденной катастрофы. Колька зло задышал, душа раздавленно заметалась, словно ее переехало колесо. Не должно такого и быть! Нет! Нет! Тут какая-нибудь ошибка. Ведь не Шура, а он собирался встретиться с девушкой в этот вечер.

— Это как же ты тут оказался? — потребовал он, охватив Щуровского яростным взглядом.

— А-а, Колюха! — беспечно откинулся Шура.

— К Катерине ходил?

— Тс-с. Никому ни слова. Сообразил?

Щуровский подставил палец к губам.

Передернуло Кольку:

— Сообразил.

Несло от Шуры водочным перегаром. Он стоял перед Колькой и объяснял:

— Я говорил тебе! Препятствия надо брать с ходу. Была Катерина ничья. Ты зевнул. Ну, а я, как видишь, не растерялся...

Колька не стал дожидаться, когда Щуровский закончит. Встряхнул головой и пошел. Шел он резко и споро, пересекая двор, переулок, дорогу и пустырек. Хотелось скорее освободиться от навалившегося несчастья.

Ступив на мостки, он заставил себя обернуться на заплесканный жиденьким светом угол поселка, где стоял семейный барак. Посмотрел на него разочарованно и понуро, словно увидел там жизнь, ставшую для него неприятным воспоминанием.

Небо с запада на восток перетягивал белый шпагатик летящего самолета. Проводив его легким сдвигом бровей, Колька направился к дому.

Мерзлые ветки кустов, провиси черного кабеля меж столбов, волоконца реденьких туч, стаи звезд между ними склонялись все ниже и ниже над Колькиной головой, словно ночь, понимая его состояние, пыталась найти для него то, что он потерял, но найти не могла и от этого, как и Колька, молча страдала.

КРИВАЯ СТРЕЛА

Старые елки, столовая на полозьях, дом-курилка с железной трубой и большая, на козлах, цистерна стоят при развилке трех зимних дорог. Одна дорога уходит к дальним делянкам, вторая — к скатищам нижнего склада, третья — к поселку Митинский Мост.

Запах снега и хвои перебивает запахом кухни. Запах такой, что, кажется, кто-то сейчас объявит: “Здесь кормят каждого, кто голоден! Пожалуйста, заходите!”

По толстым осиновым плахам заходят одетые в ватники лесорубы. Длинный стол, две скамьи. Притомленные, с паром от скинутых рукавиц, прижимаются грудью к столу рабочие нижнего склада. Тут раскряжевщики. Тут машинисты лебедек. Тут подкатчики бревен. Тут трактористы. Кто в шапке сидит. Кто без шапки.

— Добавь-ко, Настасья! — слышится то и дело.

Настасья с зарей на щеках от горячей плиты, в белом халате и белом платке старается всем и во всем угодить. Сколько рук у нее? Поглядеть — не поверишь, что две. Так споро она успевает пройтись с черпаком подле мисок, наливая туда капустные щи, и хлеба нарезать ножом-автоматом на толстой доске, и второе вовремя снять с раскаленной плиты, и компот поднести. Хорошо Настасье среди лесорубов, словно матери возле детей. Каждого рада попотчевать доброй едой и приветливым словом:

— Ешьте, ребяташки, вдосыть, чтобы работа давалась шутя!

Настасье хотелось, чтоб дверь в ее густо пропахшую щами и кашей столовку пела скрипучими петлями целый день, пока она тут кашеварит, ставит на стол, убирает и моет посуду. Но едоки у нее сидят не подолгу. Каждый привязан к работе. Запьют горячую кашу морсом или компотом — и благодарствуем, ждите нас завтра. Настасье приятно, даже когда к ней приходит мастер Рогулин, неразговорчивый, лысенкий человек, посидит, пороется в кирзовой сумке, достанет оттуда стопу нарядов, напишет в них что-то и, не сказав ничего, незаметно уйдет, оставив после себя слабый шорох бумажных листочков. Без бряканья ложек, без голосов, без шороха тихих листочков ей становилось не по себе, как покинутой всеми, как одинокой, кого оставили здесь для того, чтобы она вспоминала о самом угрюмом. Ее огорчало не то, что она прожила век безмужней. Не то, что была некрасива лицом. Не то, что мужчины в нее никогда не влюблялись, хотя один из них все-таки был ей двухмесячным мужем и от него у нее появился сынок. Ее огорчало то, что сынок ее Коля, кого она так берегла, так ходила за ним, так его тешила и ласкала, только-только вступил в настоящую взрослую жизнь и погиб.

Пять лет прошло с той поры, и все это время Настасья боится остаться одна. И дом в деревне, где с сыном жила, продала специально, чтобы поменьше ее угнетала тоска. Но и в поселке, переселившись в квартиру барака, она каждый раз, возвращаясь с работы, входила в жилое с пугливой душой, словно там, за обитой кнопками дверью сидел с папиросочкой перед печью вернувшийся к ней ее смертельно уставший сынок. Чтобы как-то себя обесстрашить, на полную громкость включала динамик. Голос радио разом глушил беспричинный испуг. Настасья даже слегка веселела и становилась способной делать что-нибудь по хозяйству, разговаривая при этом, будто рядом с ней был живой человек. Так и вели меж собой двойную беседу: динамик — свою и Настасья — свою, не вникая в то, о чем и чего говорит по отдельности каждый. Выключала Настасья радио лишь тогда, когда к ней прибегали соседские дети. Как старалась она им потрафить! Не чинила запретов ни в чем. Берите яблоки и конфеты! Скачите, как козлики через стулья! Пойте и хохочите! Всем пыталась завлечь ребятешек, лишь бы с нею подольше они посидели, не покидали ее.

Не могла без людей Настасья ни дома, ни на работе. За последний год столовку чаще других навещала десятница Вера. В Митинский Мост приехала Вера в прошлом году. Вскоре стала работать приемщицей леса. Вскоре и свадьбу свою отгуляла. Была она юной, настолько юной, что верилось, будто и замуж затем поспешила, чтобы немножечко повзрослеть. Муж у Веры — шофер. Возит орсовский груз.

Поглядывая на Веру, на ее симпатичное, чему-то тихо ликующее лицо, на дервянный, с крючком и черными цифрами, метр, с которым она врывалась с мороза в столовку, Настасья вздыхала: “Могла бы невесткой мне быть...”

Сегодня Вера в столовку вошла осторожно и робко, точно чего-то остерегаясь. Волосы в белых морозных колечках, губы дрожат. “Вся перезябла”, — решила Настасья, ибо машины шли к эстакадам нижнего склада безостановочно друг за другом, и Вере пришлось поохотиться с метром за каждым хлыстом, тут же розовым мелом пятная на них свои метки и голой рукой на холодном ветру занося в кубатурную книжку цифру за цифрой.

“А может, чего такое ей мужики сказанули? Эка молоденька — долго ли огрубить?!” — подумала повариха, зная, что Вера, приняв древесину, обычно идет в дом-курилку — сделать подсчет привезенных хлыстов. В курилке же этой вечно кто-либо сидит, жарко и тесно, надымлено до угара и слышится крепельный разговор.

Настасья еще раз взглянула на Веру. Та неловко приткнулась к столу, распахнув полушубок и полушалок. В слабой шее ее, горловой белой ямке, широко раскрытых глазах и лице с нежным выступом скул ощущалась и хрупкая красота и незащищенность, какую старалась она утаить, но выражение горько опущенных губ выдавало ее настроение, и Настасья, чувствуя сердцем чужую беду, спросила с заботой: — Чего это, Веронька, у тебя личико не такое? Ровно его со вдовой обменяла?

Взмахнула Вера ресницами, заливая Настасью взглядом недавно плакавших глаз. Взглянула, словно проверила: та ли женщина перед ней, кому довериться можно в самом секретном? “Та”, — поняла, разглядев бусые выцветшие глаза, глаза участливой женщины, притерпевшейся к давней потере.

— Не знаю, как и чего, — ответила Вера. — Боюсь за себя! И за маленького боюсь!

Удивилась Настасья:

— Маленький-то откуда? Ай! — догадалась, обняв глазами скрытый полый полушубок Верин живот. — Глупо, девушка! Тут не бояться — тут радоваться да ждать! Это же счастье! Твой ну-ко собственный человек!

— Тетка Настасья, ты добрая! Да только Борю-то моего на жалость не склонись. Как он сказал, так и будет. Иначе — развод.

Взгляд Настасьи и так-то тусклый, еще более потускнел.

— Ребятеночка, что ли, не хочет?

— Не хочет, тетка. Мол, надо с маленьким погодить, с ним, мокроштанником, будет бессонница да забота. Велит, куда беременность небольшая, ехать в город, в больницу. Чтоб от ребеночка опростаться.

— А ты?

— Ни в какую!

— Так и не езд.

— А Боря?

— Что — Боря?

— Уйдет от меня. Он такой. Ой, поди-ко, нельзя не ехать. Страшно мне, тетка Настасья.

— Страшно-то, Вера, не это.

— А что?

Настасья подвинулась к двери, открыла ее. Лицо, окунувшись в утренний свет, загрустило. Она услышала песню, какую ей пел старый ельник, неся свое эхо от горизонта и здесь, превращая его в глухие напевы, к которым прислушивалась душа, узнавая в них быль и небыль. Настасья захлопнула дверь. В повороте ее головы было что-то суровое и волевое.

— Страшно, когда тебе не для кого стараться! — И, помолчав, прибавила.— Человеку дни выданы не для страха.— Вздохнула, задумавшись, и не только о Вере с ее неродившимся человечком, а обо всех матерях.— На смерть посылать его — сама худая статья.

Личико Веры подразгорелось, иней растаял в ее волосах и влажно блестел, похожий на мелкие слезы.

— На словах-то, тетка Настасья, можно сказать хоть того красивей! А на деле?

— Было дело и у меня,— Настасья стояла, опершись рукой о гладкую кромку стола — большая и рыхлая, с вялым лицом, повитым печалью. Видела Вера, как в дряблых щеках ее прорезались сухие морщины. Морщин этих не было раньше, и вот они вышли как выражение старого горя.

— Было? — Вера прошлась ладошкой по волосам, снимая с них щекотливую влагу мороза.

— Да,— подтвердила Настасья.— У тебя младенчика-то чего? Еще нет, а на жизнь его повернуло. А у меня хоть и был он, и был даже больно большой, а от жизни как по высокой воде сухое бревнышко утащило.

Заволновалась десятица, не заметила, как поднесла указательный палец к губам, прикусила его, точь-в-точь девочка-недоростыш. На нее накатило дыханием сильной беды, какая случилась не с ней и все равно ее поразила.

— Тетка Настасья, я ведь не знала! Да как это вышло-то у тебя?

— Глупо вышло. Ныне Коле-то моему, кабы не тот темный вечер, было бы двадцать пять, столько же, сколько теперь твоему Борису. В клуб пошел паренек-от мой. Приоделся во что красивее. Жили-то мы тогда не в поселке — в деревне Нелюбино, через поле. Идет, значит, он. А за ним увязался кот Мартик. Тот часто его провожал за деревню. А тут еще дале пошел. Ступают на пару. Кот то об Колину ногу потрется, то вперед забежит, вроде бы как закрывает ему дорогу. Возле барачков, как поле-то сын мой пройди, на него с батогами и налетели. “Вон он!” — кричат.

Повернуться бы Коле вправо, на электрический свет от окон, был бы жив и теперь, а он влево, в темное повернул. Нож-от под ребра и угодил. Парни хлещут его батогами. Откуда-то девки взялись, и бабы, и старики. Кто стонет, кто крестится, кто унимает. Тут фонариком кто-то Колю и осветил. Да на весь-то поселок слезным голосом: “Не тот, робята! Не Васька! Не он!”

Был-от Коленька мой смиренный, смиренный. По ошибочке, значит, его. Кривая стрела. Метила в одного, да попала в другого. Приняли, стало быть, за углана. Был такой у нас Васька Облузин, с малолетства из тюрем не вылезал. А попадал все туда за гадости, да за драки. Чуть малешенько подопьет — тут и жди от него какой пакостишки. В последний-то раз глаза свои гадские насветил на чужую невесту. Уследил, что ночует она в сеновале. Ночью туда и залез. Снасилъничал будто поганец. Назавтра узнал об этом весь Митинский Мост. Тут и решили ребята поганцу здоровишка поубавить. Да немного поторопились. Вышло так, будто ими нечистый руководил. Коленька мой за Ваську-то, змяя, попался.

Побледнела Вера. Больно ей за тетку Настасью. Больно и непонятно.

— А кто убил-то его? Нашли?

— Был тут следователь. Разбирался.

— А все-таки кто? — разгорелась Вера, так вся и уйдя глазами в лицо Настасьи.

Посуровела повариха:

— Не надо тебе это знать.

Вера почувствовала себя маленькой, глупой. Горе ее по сравнению с горем Настасьи было ничтожным. Она посмотрела на повариху, как та, сугорбя рыхлые плечи, прошла к плите, встала одной ногой на колено, швырнула полешко в огонь. “Как живет-то она? — подивилась Вера. — С такой зарубиной на душе? Ой, как худо ей! А гляди, не выкажет горечка никому. Да и выглядит эдакой бодрой. А того, у кого что стрясись, готова еще и утешить. Откуда в ней это?” — думала Вера. И приходила к мысли, что, видимо, это от русской привычки раскрывать свое сердце для каждого, кому плохо и тяжело, кто

расстроен и болен или не знает, как дальше жить. И вдруг молодой открылось: Настасья ей для того и рассказала о сыне, чтоб укрепить в ней, неопытной, веру в счастливое материнство. Подступила к горлу сладкая дрожь, перехватила дыхание на секунду. “Никуда не поеду! — решила Вера, и ресницы ее задрожали от проблеснувших в них радостных слез.— Мой малыш будет жить!”

И все-таки к дому Вера ступала с тревогой. Волей-неволей думала о себе. Чего она видела в жизни? Да то же самое что и все, кто, как она, закончив в родном городке учебу, едет с дипломом техника в лесопункт. А в лесопункте — работа. Не мастером — молода и характером слабовата,— десятником нижнего склада определило ее начальство. Работа простая. Знай залезай на площадки машин к пахнущим терпкой смолой еловым комлям, зацепляй их линейкой, смотри на отсчет да записывай в книжку. Кроме работы, не знает Вера, чего ей и вспомнить. Разве замужество с Борей. Счастливая ли она? Замуж вышла как с перепугу. А перепуг оттого, что была она девушкой видной, и стоило ей появиться раз в клубе, как среди парней моментально возник раздраженный шумок, словно делили ее, решая на спор, кому с десятницей пройтись. Многие парни в ней разглядели ту самую, с кем бы хотели связать свою жизнь. Она же выделила Бориса. Привлекли ее в нем широкие плечи, синие пристальные глаза и лицо с выражением твердости и упорства.

Ночные прогулки, свадьба, семейная жизнь запомнились ей как один затянувшийся день, в котором все было слаженно и спокойно. Однако спокойствие кончилось. Это случилось вчера. С изумлением и боязнью учуяла Вера в себе трепыханье еще одной жизни. Значит, под сердцем — родное дитя! Смущаясь, сказала об этом Борису. Полагала: он будет рад. Но муж огорчился.

Целый вечер она страдала, слушая, как Борис монотонно внушал, что ребенок сейчас преждевременен, свяжет заботами по рукам, и что лучше Вере, не мешкая, съездить в больницу.

Это молодку сейчас и пугало. Что она скажет Борису? Где отыщет слова, какими можно сломать в нем худое упрямство?

Над поселком ползли вечеревшие тучи. До ночи еще далеко, а серая мгла сдавила Митинский Мост. То тут, то там замелькали огни, осеняя крестами от рам глубокие снежные огороды. Провизжал за забором в хлеву молодой поросенок. Бухнул валенок о порог. От трубы отемнелой косицей пошел развеваться распластаный дым. Жизнь продолжалась и здесь, несмотря на холод и снег, скучный лес и давившие на дома и бараки глухие потемки.

Вспомнила Вера, что Митинский Мост был для нее когда-то настолько чужим, неприветливым и ненужным, что она настрочила домой письмо, убеждая свою никогда не болевшую мать выслать справку о ложной болезни, кото-

рая, дескать, ее привязала к постели, и потому за ней требуется уход. То было год с небольшим назад. Теперь поселок как бы сменил чужое лицо на лицо знакомое, где-то даже и дорогое, и Вере было приятно, что нет в ней прежней тоски, привыкла к работе и знает многих людей, с кем любит здороваться каждое утро. “С людьми хорошо — так с мужем худенько? — маялась Вера в своих передумьях.— И чего он такой? Ведь не пень. Должен понять, что нельзя мне в эту больницу. Не выдержу я...”

Борис уже ждал. Он даже ужин сам приготовил. Впрочем, он делал за Веру не только ужин — стирал и гладил белье, мыл полы, ходил в магазин. Много было в нем от хозяйки, любившей в квартире порядок и чистоту.

Он сидел за столом в шерстяном спортивном трико, обтянувшем его мускулистое тело. Пальцы рук, плясавшие на груди, тонкогубое с правильным носом лицо, блеск внимательных глаз, наблюдавших с улыбкой за Верой — все в нем как бы шутя, но и с достоинством говорило: “Вот я какой у тебя! Настоящий хозяин! Где такого еще найдешь?!”

Умывшись, Вера уселась за стол. Вздохнула с чувством забитой хозяйки, которой скажут сейчас неприятность. Однако Борис был корректен. Сам поел. Дал и Вере поесть. И лишь после того, как она взялась убирать со стола, серьезно сказал:

— Едешь завтра. С Мякиным договорился,— назвал начальника лесопункта.— На три дня отпускает... Увезу тебя сам. Так и так мне по орсовские консервы.

Ознобило Веру в висок. Она покосилась на дверь, откуда так остро и холодно кинуло стужей. Но дверь была плотно закрыта.

— Боюсь.

По тонким губам Бориса скользнула усмешка.

— Другие вон раз — и в дамках! А ты?

Чашка вывалилась из Вериных рук и, хрупнув отколотой ручкой, покати-лась вертком по столу. Почему-то глаза ее поймали вешалку возле порога, где поверх занавески торчала зимняя шапка, схватили и умывальник, зеркало на стене, полотенце для рук и недвижно сидевшего мужа, чье лицо в ней вызвало неприязнь.

— Не поеду. Ты должен понять...

— Не дури,— не дослушал Борис.— Как, не знаю, не понимаешь. Для тебя же будет потом хорошо. Что я, враг тебе, что ли? Значит, завтра...

Собралась Вера с духом и тоже не стала дослушивать мужа.

— Скучный ты, Боря,— сказала, заставив себя хоть и слабо, но улыбнуть-ся,— ну точнехонько дятел. Говоришь, как березу долбишь.

Удивился Борис.

— Потому и долблю,— объяснил,— чтобы было у нас все как надо. Надо сначала пожить на себя. Так что давай. Не упрямясь. Дурехой не будь. Обойдется, как в точной аптеке.

Расстроилась Вера. Но неожиданно, как поддержка, на память пришла ей тетка Настасья.

— Человеку дни выданы не для страха,— заговорила ее словами.— На смерть посылать его — сама худая статья.

Брови Бориса сошлись.

— Угрожаешь?

— Предупреждаю.

— Сама придумала?

— Повариха.

Отшатнулся Борис на горбатую спинку стула. С минуту сидел, угрюмо соображая. За эту минуту лицо его сузилось, потемнело, а лоб пропахала стая продольных морщин. Знал Борис за собой преступное дело. Был виновен в гибели сына Настасьи. Не ножом он его, а палкой. И хотя этих палок в тот вечер пало на голову парня немало, не известно, какая из них стала смертельной. И повариха могла его обвинить так же, как и других. Но она ничего не сказала. Тогда не сказала. Выходит, сейчас?

— Душа моя не баранья,— сказал он, угрюмо уставясь в клеенку стола,— за дешевку ее не продам.

— Это о чем ты? — смутилась Вера.

Борис шевельнул головой.

— Разве тебе повариха не говорила, кто уколошил ее Николашу?

— Спятил, Боря! Об этом она сказала другое.

— Другое? — Борис сидел неподвижно, точь-в-точь икона с суровым лицом.

— Она сказала, что это парни, а кто — конкретно не назвала.

Борис повернулся вместе со скрипнувшим стулом.

— Тогда ответь мне: кто и кого посылает на смерть? Так ведь сказала твоя повариха?

— Так.

— Ну, так и кто?

— Кривая стрела,— снова ответила Вера словами Настасьи.— Метишь в дите, а ударишь в себя.

— Фу-ты, черт! Фу-ты! Я думал, ты говоришь о Настасьином сыне,— промолвил Борис, отпуская тяжелый выдох, а вместе с ним и минутный испуг. Но Вера-то видела: муж встревожен.

— Чего уж теперь говорить о Настасьином сыне. Его не вернешь. Говорю о нашем...

Борис старался понять и не мог, что сейчас толковала ему супруга. В груди его было больно. Казалось, там сшиблись друг с другом жестокость и жалость, и примешались к ним страх и надежда, и было ясно ему, что сегодняшней ночью он не заснет, потому что будет судить его совесть. Совесть сына Настасьи, которого нет. И совесть ребеночка Веры, который, кажется, будет.

Свет потушен. Потемки в квартире. Потемки и там, за морозным окном, где текла, освещая себя слепыми снегами, ясная ночь, и в зените ее серебристой колючкой мерцала малютка-звезда, единственная из всех, что пыталась проникнуть взглядом в окно и узнать: почему же хозяева этой квартиры никак не могут сегодня заснуть?

Донимает Бориса мысль о жене: “Теперь она все обо мне узнает. Завтра же спросит тетку Настасью. И та ей расскажет. Конеч. Была жена — и не станет. Уйдет. Или скажет, чтоб я уходил...”

И Веру терзает такая же мысль. Она задает себе страшный вопрос. Сотню раз задает: “Неужто и Боря увечил Настасьина сына?”

Утром они уходили из дома, будто чужие. Не позавтракав шли: Борис — направляясь в гараж, Вера — в столовую на полозьях.

Настасья несколько не удивилась, когда дверь в столовую распахнулась и Вера, вся в белых ниточках от мороза, красиво-печальная, с горьким надломом губ и бровей, прошла, прошуршав по скамье полой полушубка.

— Думала все о сыне твоём. Кто его, тетк? Может, вместе с другими был там и Боря?

Настасья омыла лицо ладонью.

— Нет,— сказала с забившимся сердцем.

Не поверила Вера:

— Ты меня не жале!

— Нет! Нет! — повторила Настасья и ощутила в себе усталость тысячелетней старухи. Усталость, какая к ней перешла от всех колен ее старшей родни, перед кем она стала навек виноватой, потому что не сберегла для потомков фамилию рода, которую мог бы продолжить ее сынок.

— Ты мне голую правду, тетка Настасья!

Повариха взглянула на Веру остуженными глазами и улыбнулась через усталость.

— Пустое, Вера. Не было там твоего Бориска. Ты мне лучше скажи,— показала на Верин живот.— Как дите-то твое? Чего с ним решила?

— Буду рожать,— потупилась Вера и отвернулась к окну, забирая рассеянным взглядом белую крышу дома-курилки, цистерну на козлах, тропу и бредущие в тихих сугробах старые елки, из прогала которых вдруг с перевальцей

выполз опутанный инеем лесозоз. Схватив со стола деревянный, с крючком и черными цифрами, метр, Вера метнулась к порогу. Бежала к машине с хлыстами, не зная того, что Настасья глядит ей вдогонку. Глядит глазами усталой старухи и, теща себя красивым обманом, видит в ней ласковую невестку, которая скоро подарит ей долгожданного внука.

ПОВОРОТ

Никуда бы сегодня Борису не ехать. Лежать бы под стеганым одеялом в дремотно-расслабленном оцепении и ждать, когда рассосется в нем ватная тяжесть. А может, и вправду сослаться на боль в голове? Беда не велика, если он не сегодня, а завтра сгоняет свой ЗИЛ за товаром. В крайнем случае пусть за ним отправляется кто-то другой. Шоферов в лесопункте хватает.

Нет. Борис потихоньку мрачнеет. От мысли, что на весь день останется дома с беременной Верой, его начинает бросать в нехороший румянец. Жену его словно кто специально обезобразил. С большим животом, желтой кожей лица и плаксивыми скобками над губами, стала она ему в тягость. Кажется, он ее разлюбил. Не за то, что она подурнела перед родами. А за то, что семейная жизнь потекла у них, как хотела того она, а не он. Все дело в зачатом человеке. Она не чаяла в нем души. Он же угадывал в нем обузу.

Стать отцом в неполные двадцать пять лет? Борис был к этому не готов. И вообще в последнее время, питая к жене неприязнь, он жалел, что так рано запрягся в семейную лямку. Особенно остро он ощущал свою запряженность, когда ловил на себе откровенные взгляды пригожих девчат, с кем встречался в городе и в дороге. Взгляды эти многое обещали.

Хуже нет раздражающих душу коротеньких дум. От них ни сна тебе, ни покоя. Целую ночь собирался Борис заснуть. И не мог. Оттого и встал изнуренный и злой, с глазами, которые даже в хорошем видели только дурное.

Позавтракав, он торопливо оделся. Ступая к порогу, услышал голос жены. Вера просила его заглянуть в магазин и купить там материи для пеленок. Он ничего не ответил, только кивнул и, сунув в рот сигарету, не зажигая ее, пошел к гаражу.

Уже в кабине, грея мотор, он испуганно шевельнулся и покосился направо, словно с ним рядом кто-то тихонько сидел. Он перебрал в губах сигарету и вывел машину из гаража.

Что-то случится! Это Борис осознал минут через десять, после того как выехал за ворота, свернул на блестящую полосками серого льда дорогу и

сразу же взял предельную скорость, тускло взглянув на махавшего шапкой высокого мужика, которому тоже, видать, было надобно в город.

“Чего это я как с цепи сорвался?” — подумал Борис, ощущая губами мундштук неприкуренной сигареты, и скинул скорость. Чиркнув спичкой по коробку, макнул сигаретой в огонь, глубоко затянулся и громко сказал, обращаясь к себе, как к глухому:

— Не суетись!

Успокоение не приходило. Он опустил боковое стекло, выплюнул горькую сигарету и снова нащарил рычаг скоростей.

Все тридцать пять километров до города ехал намеренно тихо, как новичок, даже позволив себя обогнать колхозной машине, в кабине которой приметил того, махавшего шапкой ему мужика, признав в нем Федотова Мишу. Смугился Борис. “Во я даю. Ну-ко знакомца не посадил. Лукавый, видно, меня попутал. Этого Миша мне не забудет. Да ладно. Что вышло, то вышло. Не родственник, слава богу. Пусть духарится, коли охота...”

Вскоре Борис въехал в город. Тут надо было ему поспешать. Он так и сделал. Все время ушло на загрузку кузова водкой, консервами и крупой, оформление документов, столовку, где надо поесть на дорогу, и клокотавший народом универмаг, в котором Борис, неизвестно кого стесняясь, купил десять метров фланелевой ткани.

Здесь, в толчее горожан, он и встретился с Мишей, державшим под мышкой коробку с покупкой. Был Федотов в осеннем пальто, надетом на вязаный свитер, в серой, из кролика, шапке и в зимних ботинках.

— Домой? — спросил Миша грозно, уничтожая Бориса глазами.

— Ну-у.

Ломая в усмешечке губы, Федотов напомнил с предостерегом:

— Я ведь с тобой с одного поселка.

Намек был понятен.

— Да знаю.

— А даве чего не узнал?

— Торопился, — Борис, чтобы Миша не видел, как он покраснел, повернулся к стеклянным дверям, и открыв их, двинулся спорым шагом к машине. Федотов шел за ним и ворчал:

— Знатко носишь себя, паленая кура...

Поначалу ехали молча, словно стояла меж ними невидимая стена, мешавшая им вести дорожные разговоры. Однако минут через десять, за городскими домами, среди ольхового перелога взглянули искоса друг на друга и молча пересмехнулись, как примирившиеся враги. А километров за пять до поселка нашли и слова, которые им поправили настроение.

— Во-о! — Федотов встрыхнул на коленях свою коробку.— Туфли купил. Евстолие. Завтре ей сорок лет! Взял нарочно отгул. Пейсят четыре рублишка! Не сплеховал?

— Дороговато,— ответил Борис.

— А ты, я гляжу,— Миша кивнул на белевшую между спинкой сиденья и поясницей шофера бумажную упаковку,— тоже не растерялся.

— Ну-у,— согласился Борис.

— Это чего у тебя?

Борис не хотел признаваться, что это материя для пеленок, потому и ответил невнятно:

— Да та-ак.

Тем не менее Миша сказал, поощряюще улыбаясь:

— Понятно! Без этого тоже нельзя. Иногда надо баловать их.

Бровь у Бориса вывело кверху.

— Кого?

— Бабешек-то наших,— дал пояснение Миша и благодарно заухмылялся, испытывав охотку поговорить.— На свою не пожалуюсь! Знал, кого брать! Не жена, а держава! Да и твоя не худа. Скоро, поди-ко, наследника принесет?

Борис поугрюмел:

— Скоро, черт побери.

Изумился Федотов:

— Что ли, не рад?

Борис прибавил машине скорость, нажал до предела на газ. Выщелкнув нишу, достал из нее пачку скомканных сигарет. Закурил. Лоб его от прорезавших кожу морщин и белесого снопика дыма сделался низким и затаенным.

— С каких радостей быть довольным?

Машину чуть вынесло за дорогу, переднее левое колесо, срезая бровку сугроба, не сразу вернулось в колею. А когда возвратилось, Борис обругал про себя гололед и вписался в кривую последнего поворота, за которым сквозь редкие елки проступали строения Митинского Моста.

— Полегче-е! — прикрикнул Федотов и удивился, когда машину от бешеного разгона понесло не вперед, а по кругу, точно кто-то ей дал крутого вертка, и она, развернувшись, вдруг побежала назад, устремляясь к заснеженному обрыву.

Помешала куртина молоденьких елок, в которую ЗИЛ и врезался задним бортом, соскочив с трехметрового косогора. Федотов выскочил первым. Борис задержался, с трудом выбираясь из-за руля, которым, кажется, он надломил себе нижние ребра.

— Можешь ли?! — утопая в снегу, Миша подался к шоферу. Помог ему выйти из сломанной дверцы, поставил, как деревянную куклу, возле коряги и осмотрел его с видом врача, который вот-вот поставит ему диагноз.

— Могу,— прохрипел Борис и разоренным взглядом окинул машину. Та стояла с опасным наклоном к реке. Задний борт был раздавлен. Боковые — целы, однако они ухранили лишь пару мешков с перловой крупой. А все остальное — ящики водки, кули с макаронами и консервы — валялись в снегу. Пахло расплесканной водкой. Борис потащился было к ящикам и бутылкам — понять, как велик получился разор. Но грудь обнесло рваной болью, и он пошатнулся.

Миша его поддержал, пошел было с ним, верней, потоптался в снегу. Да Борис мешковато обвис, и Федотов, взяв его на руки, как большого ребенка, жарко пышка, выбрался на угор. Потом спустился за мешком с макаронами. Посадил пострадавшего на мешок. И стал думать: “За что ему взяться вначале?” То ли поднять с подугорья товар, то ли пойти с шофером в поселок? Решив, что товар не денется никуда, он наклонился к Борису, пытаясь его загрузить себе на плечо и унести таким способом до медпункта. Однако шофер замахал рукавами фуфайки:

— Не! Я останусь. Я посижу. Такое дело,— кивнул в подугорье,— нельзя без присмотра. Поди! Пусть посылают машину. А я куда покараулю.

Повыковыривав из ботинок попавший в них снег, Федотов тяжелой при-бсжкой пустился в Митинский Мост. Борис глядел вдогонку ему. Глядел как на верного человека, который его не оставит, вернется сюда и возьмет на себя заботу о том, как вытащить товар и машину.

“Бутылок двадцать, поди, расколосось,— думал Борис, утешая себя.— Это еще ничего. Рублей на сто тридцать. На книжке около пятисот. Хватит. А машину сделаю сам. Чего у нее? Задний борт заменить. Дверцу поправить. Да вон лобовое стекло дало две трещины,— стало быть, вставим другое...”

Борис, опираясь ладонями о мешок, попытался подняться. Да полоснуло в груди. Лучше, значит, не шевелиться.

Висевшая над Волошкой голубизна чуть подернулась сероватым и стала робко сжиматься. День умирал. С словых ветвей пошли ниспадать предвечерние тени. Подуло ветром, и в нем смешались запахи талого снега и спирта.

Сквозь чащицу хвойных мутовок пробились теплые выплески света — в поселке вздували огни. Они обещали отдых, уют и семейное маленькое застолье. Борис улыбнулся и тут разобрал приближавшийся говор мотора. Почему-то он шел не слева, где расположен поселок, а справа, где находилась развилка дорог, убежавших сквозь ельник к районному центру и лесосеке.

Рабочий автобус! В нем лесорубы с участка. Едут домой. Борис поднял руку. Автобус остановился.

Борис приготовился выдержать боль, с какой сейчас подымут его и, посадив аккуратно в машину, моментом доставят в фельдшерский пункт.

Но почему-то к нему не спешили. Дверца автобуса скорготала от выходящих один за другим лесорубов, одетых в подшлемники и фуфайки. Борис насчитал двадцать пять человек. Шофер Иван Наволоцкий — двадцать шестой. Тут и дорожный мастер Володя Расков. Тут и Колька Дьячков, тот самый юнец, с кем Борис по осени чуть не подрался. Тут и Шура Щуровский, веселый до наглости холостяк, без царя в голове, кто никого не стеснялся и не боялся.

“Куда они? — подивился шофер: лесорубы шли не к нему, а к месту аварии под обрывом. Глаза у Бориса прижались, выплеснув тихую благодарность. Сейчас они всей артелью возьмут, пока не стемнело, разбросанный груз; соберут до последней бутылки всю водку, все восемь мешков с макаронами и крупой, все консервы с сардинами и салакой и за один-два подъема вынесут вверх. “Есть еще добрые люди,— думал Борис, вертя головой, как осутуленный филин на елке.— Кто, интересно, их надоумил? Неужто Расков? Вроде и парень-то тихий. А на. Умеет...”

Насторожило Бориса то, что добрые люди назад не спешили. Чего они там? Ага! В руках у них колотые бутылки. Достают из снега, сдувают стеклянную пыль и с опаскою пьют, осторожно следя, чтоб со дна вслед за водкой не тронулся острый осколок. На губах у Бориса похвальное слово: “А чего! Чем добру пропадать. Пусть лакают. Все больше пользы”.

Вскоре Борис подзамерз. Мороз хоть и слабый, а брал в ледяные ладошки все его тело.

— Побыстрее нельзя? — крикнул и резко согнулся, будто ударил кто в поддыхало. Он поудобнее повернулся. В висках закололо, как от еловых иголок, и оскорбленно высветились глаза, уставясь на мужиков, которые, точно живые коряги, ползали по сугробам и, находя в них бутылки, жадно прятали в валенки и карманы.

Растерялся Борис. Душу его защемило. Он возмущенно тряхнул руками.

— Это не ваше! — швырнул вниз измученный голос.— Куда забираете? Совесть надо иметь!

Кто-то упал, запнувшись за ящик. Кто-то, целясь по елке, трахнул в нее зазвеневшей бутылкой. Кто-то услышал голос Бориса и рассмеялся.

И тут он вспомнил про мастера. Где он там потерялся? И почему допускает грабеж? Рассердился Борис.

— Э-э, Расков! Ты-то чего там глядишь?!

Мастер, видимо, понял, что дело зашло далеко, и поэтому сразу же отозвался.

— Пора по домам,— сказал мужикам. Но сказал невнятно и кисло, как хлебная овсяная кисель.

Мужики с удовольствием рассмеялись:

— Успеем!

Борис окунул руки в снег. Выходит, теперь ему надо платить не за двадцать расколотых поллитровок, а за все до единой, какие он вез. Семнадцать ящиков водки. Сколько останется? Да нисколько. Он посмотрел сквозь сумерки в подгорье. Все-то там разворочено. Будто прошел окаянный Мамай. Если чего и останется — будет растоптано, пролито и разбито.

Вынув руки из снега, он стал их тщательно вытирать о маслянистые полы фуфайки. Вытер, погрел возле рта, надышав на них островками тепла, и уперся взглядом в надречные елки. Возмущения не было. Непонятно, куда оно и девалось, опустошив его. В грудь вошло ощущение примиренности с произволом, и стало Борису на всех и на все наплевать.

И в эту минуту, глуша мотором пьяный балдеж, подъехал на стареньком автокране взволнованный Миша. Спрыгнул с подножки — и сразу к Борису. Борис объяснил, что здесь было и что происходит.

Лицо у Федотова потемнело. Стало стыдно за мужиков, налетевших как воронье. Повернув бревнистую шею, он посмотрел на них сверху вниз с неодобрением и досадой.

— Ползают, ровно воши,— сказал в пространство.— А воши и есть! У парня беда. А они к ней, что тебе к сладкому, прилепились. У-у, сосуны!

Сшибая ботинками снег, Миша прошелся по берегу, взъерепенившийся и злой, как кабан, которого рассердили. Остановился. И, вскинув руку, властно пообещал:

— Я вас все-таки подыму! Хватит ползать, как паразиты! Людьями были, людьями будьте! — И поспешил к автокрану. Забрался туда, врубил передачу и, отогнав машину метров на тридцать, поставил ее на дорожный уклон, чтобы фары смотрели на подгорье.

— Готово! — крикнул, включая свет, который брызнул белой рекой, затопляя избитый следами склон с пестревшими там и сям полупьяными ползунами.

Послышались крики, угрозы и матюки. Однако свет, ослепляя глаза, заставил опомниться мужиков. Отяжелев от бутылок, потные, на заплетающихся ногах, они полезли медленно на угор.

Двадцать шесть мужиков. Все знакомые. Один за другим они выбрались на дорогу. С громким пышканьем, точно после тяжелой работы, двинулись было к автобусной дверце. Но Миша встал к ней спиной, загородив им дорогу.

— Успеете,— хмуро сказал.— Сперва от бутылок освободитесь.

Лесорубы сбились в лохматую кучу, того и гляди создадут толкотню и Федотов в ней затеряется, как в деревьях.

— Не возникай! — посоветовали ему.

Федотов вытянул руку.

— Ставьте туда! — показал на Бориса, сидевшего филином на мешке.

— А ежели не-е?

— Тогда вы его под статью подведете!

Мужики загудели, как осы около пузыря:

— Какую еще статью?!

— Ставьте! — потребовал Миша.

Мужики задвигались, завздохали. Кто-то уже наклонился, пихая руку за голенище. И вдруг откуда-то из-за спины взвился задорный, с нахальной ноткою, голос:

— Чего, ребята, разели гляделки! Пехай его в яму! Смеле-ей!

Совет был рассчитан на пьяных людей, что — кто-то из них взопалится, подымет руку — тут и пойдет! И придется Федотову или лететь в измолотый снег под обрыв, где разбитые ящики и машина, или, взяв ноги в руки, ретиво бежать, спасаясь от произвола.

Однако никто на голос не отозвался. И стало тихо. До страшного тихо.

Федотов качнулся и сделал отчаянный шаг. Мужики расступились. Остался стоять на его дороге лишь Шура Щуровский, такой же высокий, как Миша, лишь более тонкий и молодой. Рот у Щуровского улыбался отдельно от глаз, смотревших на Мишу холодно и тревожно.

— Что дальше? — спросил он с вызовом забияки.

— Разгружайся,— ответил Федотов.

— А если не буду?

— Будешь!

Шура язвительно выкривил рот:

— Тебе бы в милицию — во бы ты развернулся!

— Шейсят семь лет живем при Советской власти. Пора без милиции обходиться!

— Это как? — осклабился Шура.

— Так! — Миша вытянул руку к Щуровскому. Взял в пальцы пуговку на фуфайке и аккуратно ее расстегнул. Затем расстегнул и другую. Полы фуфайки разъехались, обнажая штаны, окруженные поясом из бутылок.

— Сам сумеешь или помочь? — рука у Миши уверенно потянулась будто сейчас расстегнет у Щуровского и штаны.

Шура попятился.

— Ладно тебе,— и, подойдя к Борису, ста разгружаться.

Все поставленные к ногам шофера бутылки Федотов считал громко вслух. Закончив считать, объявил:

— Итого: пятнадцать!

После чего повернулся и, закуриw папироску, приблизился к мужикам. Те стояли, моргая гляделками, как провинившиеся солдаты перед сержантом, который еще не решил, каким таким способом он их накажет.

Но Миша повел себя непонятно. Показав на раскрытую дверцу автобуса, он разрешил:

— Теперь поезжайте домой.

Ему не поверили, и кто-то за всех решил уточнить:

— Что ли, с вином?

— С вином, — подтвердил безразличным голосом Миша.

— А все же?

Федотов охотно растолковал:

— На каждую голову в среднем кладу по пятнадцать поллитр!

— А после?

— А после дело бухгалтера. Пусть вычитает у вас из полочки. Согласны? Согласных не оказалось. Все зароптали. Один мужичонка топнул даже ногой, выражая этим свое возмущение.

— У меня и всего-то три склянки!

Мужичонку тотчас поддержали:

— У меня хоть и десять, дак что?! Не богач — в полтора дорога отдавать!

— У меня ничего нет. Это не дело-о!

Взбунтовались лесные работники. Никому не хотелось терять из зарплаты рубли. Взбунтовались и тут же задвигались, как соревнуясь между собой, кто скорей опростается от бутылок.

У мешка с макаронами, на котором сидел Борис, вырос стеклянный прилесок. Потеря была не особо великой. Самое большее — ящичка полтора. Но Федотов решил, что и этого лишка. И когда его кто-то спросил: “Топере доволен?” — он обозленно мотнул головой:

— Нет! Не доволен!

Мужики придвинулись к Мише. Заговорили едва не все вместе:

— Ты чего! Думаешь, мы утаили? Коли не веришь — валяй проверяй! Выворачивай, робя, карманы!

Миша ошпаренно покраснел:

— Мои руки еще никого не шмонили. И не будут шмонать, палена!

— Тогда чего ты такой недовольный? — Снова в несколько голосов заговорили мужики. — Может, выпить тебе охота? Так это сей миг!

Кто-то из лесорубов нагнулся к бутылке с отколотым горлом, стоявшей в снегу среди целых и, улыбаясь, поднес ее Мише. Снег взвизгнул под Мишиными ногами, так резко он отвернулся от поданной склянки.

— Чьим вином угощаете, добряки?! Вы за него платили?

Вот когда лесорубы смутились, словно Федотов загадочным образом взял в свои руки у каждого совесть, чтоб, посмотрев ее на свету, разобрать, сколько на ней за сегодняшний день напечаталось пятен.

— Но, Михаил, так-то бы тоже зачем?

— Затем, что за вас будет платить он! — Миша кивнул на Бориса и замолчал, словно выговорил себя до последнего слова.

Мужики виновато переглянулись. Один вздохнул. Второй хлестнул рукавицей по голенищу. Третий поднял наполненный горечью голос:

— Всамделе, ребята! Вроде бы как в подлянку сыграли! Убыток у парня. Бутылок тридцать, поди гробанулось! А что, если мы...

— С головы по пятерке! — подхватил совестливого кто-то особо горластый. — Верняк?

— Верняк! — раскатилось по-над дорогой, и лесорубы приободрились, учув в себе затаенную гордость, мол, не такие мы стервецы, чтоб с потерпевшим не рассчитаться.

Борис натянуто улыбнулся, поднял глаза и опять опустил, сказав, хоть и тихо, однако твердо:

— Не побирушка я. Не приму.

Федотов, не ожидавший такого ответа, вскинул руки над головой:

— Молодец, паленая кура! — Затем развернулся: — А вы, робятье, под угор! Всю крупу, все консервы сюды-ы! — И первый вспахал ботинками снег косогора, наметя взглядом спинку торчавшего из сугроба мешка.

Час спустя, усевшись с помощью Миши в кабину крана, Борис почувствовал беспокойство, словно он что-то здесь позабыл, а что именно, вспомнить не может. Водка с продуктами были в автобусе, скрывшемся только что между елями. Мастер с шофером Иваном сдадут весь товар в магазин. Так что не надо об этом зря волноваться. Правда, тут оставалась его машина. Однако что с ней может случиться? Завтра ее отсюда подымут. И можно будет заняться ремонтом. А перед этим поправиться самому. Кажется, ребра целы, не поломаны. Руль, вероятно, их только помял. День-два, и все наладится, снова он будет ходить и дышать. Однако было ему беспокойно. Что-то он все-таки здесь позабыл.

Весенний вечер с робким морозцем, мглой и тучами над домами глянул в лицо Бориса, когда машина остановилась и он, опираясь на локоть Федотова, сделал несколько мелких шагов, ступив на крыльцо медицинского пункта.

Он молча вытерпел перевязку. Хотел было сразу домой. Да фельдшерница Анна Матвеевна, полная рыженькая старушка с расплывчато-белым лицом, сказала, как прожурчала:

— Нельзя-я! — и показала на койку.

Для спора сил у Бориса не оставалось. Едва голова привалилась к подушке, как все отодвинулось от него.

Утром, проснувшись, страшно голодный, но бодрый, Борис услышал проливавший к нему из-за белой стены настойчивый плач. “Ребенок, что ли?” — удивился он. Осторожно поднявшись, потрогал рукой свою грудь, потолстевшую от перевязки. Дышать было легче. Но боль из ребер не ушла. Он подобрался к окну. На улице было солнечно, капало с крыш, на осевших сугробах скакали растрепанные вороны.

Тут явилась на ум жена. Не раздраженно явилась, скорее — тревожно, словно Борис ее в чем-то подвел. Ведь она со вчерашнего дня так ничего о нем и не знает: где он, что с ним и почему не вернулся домой? Борис усмехнулся, вспомнив причину вечернего беспокойства. Он вез материю для пеленок. И вот материя эта осталась в машине.

По крыльцу простучали шаги. Наверное, фельдшерница. Идет, чтоб сменить повязку.

В комнату вполунаклонку ввалился Федотов. Пахло утренним снегом, еловой корой и соляжкой. В правой руке у пришельца тот самый сверток, где магазинная ткань, в левой — коробка с туфлями за пятьдесят четыре рубля, которые Миша купил для своей белозубой Евстолии. Подавая Борису сверток, Федотов свесела подмигнул:

— Как дела?

— Ничего.

— У нас тоже не худо. Машину твою достали. Стоит в гараже. Ну, а кто там родился-то? — Миша кивнул на смежную дверь, за которой слышался плач, и навел глаза на Бориса. — Парень?

— Парень, — сказал Борис машинально.

— Поздравляю! — Федотов провел пятерней по Борисовой шее, поправил коробку под мышкой — и был таков.

— С чем поздравил-то он меня? — растерялся Борис и, опаленный догадкой, взглянул на дверь в комнату, где надрывался ребенок. “Неужто?” И, собравшись с духом, приблизился к двери.

Ребенок плакал — и перестал, едва Борис протиснулся в комнату, где стояла кровать. Он испуганно улыбнулся, узнавая жену, лежавшую с крошечным человечком.

— Как вы тут?

Голова у Веры приподнялась. С ее бледного, до невозможности худенького лица не глядели, а как бы текли большие струящиеся глаза, которые были одновременно где-то там, далеко, почти за пределами жизни, и здесь, на кровати, рядом с Борисом.

— Хорошо,— сказала она.

Борис показал на ребеночка, кисло смотревшего сморщенным личиком из пеленок:

— Как звать-то его?

— Не знаю,— ответила Вера,— придумывай сам.

— Вовкой! — придумал Борис.

— Глупенький! Это же девочка.

Борис зарумянился:

— Ольгой тогда!

Вера шепнула малышке:

— Оленька! Поздоровайся с папой! Вот он! Большой и лохматый! Здравствуй, папа, скажи!

Дочка отцу ничего не сказала. Однако Борис все равно ей ответил:

— Здравствуй! — и ощутил свое сердце, рванувшееся в груди, будто тяжелая птица с насиженной ветки.

КРАСИВАЯ МЕСТНОСТЬ

Гора была невысокой, метров пятьсот. Взойдя на нее, я увидел равнину, которая шла на восток параллельно нижней равнине, где оставалась Алма-Ата.

В глаза сразу бросилась зелень. Зелень листвы и зелень плодов, уходившая по траве в такую же нежно-зеленую беспредельность. В затаенной прохладе деревьев мерцала каменная тропа. Она, как граница, делила две территории: нижнюю, с бледной растительностью горы, и равнинную, с кущей роскошных яблонь и вишен. И гут я заметил ходившего по тропе скуластого, с книгой в руке казаха-студента.

Пересекая тропу, дабы углубиться в красивую местность, я мимолетно заметил в глазах студента мелькнувший испуг. “Не за меня ли он испугался?” — подумал и тут же об этом забыл, так как меня захватило видение если не рая, то нечто похожего на него. Я еще никогда не встречал такого количества яблок. С каждой склонившейся ветви их можно было набрать по ведру.

Попробовав парочку, больше срывать не пытался. Рано! Еще не созрели. И вишня была недоспелой. Зато как сладка оказалась черешня! Я шел под сверкающим солнышком дальше и дальше, срывая розовые плоды, и думал о пище Адама и Евы, что окружала меня тут и там. “Да здесь этих сладостей хватит на весь Казахстан!”

Минут через двадцать выбрался я на поляну. С боку ее на скамейке за столиком, рядом с яблоней, на суку которой висело ружье, отдыхал русоватый с красным лицом старичок. Увидев меня, он вскочил, часто взмахивая руками:

— Куда?!

— Никуда,— улыбнулся я старичку.— Просто так. Отдыхаю.

— Беги-и! — старичок кивнул куда-то за яблоню, откуда шел, приближаясь к нам громкий топот.— Бригадир! Плеткой тебя на два края располосует!

Я догадался, что нахожусь в колхозном саду, и стороживший его старичок был обязан меня задержать, как чужого.

— Ты не видел меня!— сказал я, ныряя в листву.

Выходя на тропинку, сначала услышал цокот копыт, а потом разглядел вороного с казахом в коричневой тубетейке. Конь, храпя, сердито остановился. Казах что-то крикнул и, как обломок скалы, навис над тем самым студентом. “Это и есть бригадир”,— отметил я про себя. Тут в руке у казаха плеснула короткая плетка. Студент резко рухнул, словно его подсекли.

Три раза ударил казах. Потом встрепенулся, словно учуял еще одну жертву, нервно дернул уздой и стремглав ускакал.

— За что он тебя? — спросил я студента, сидевшего на тропе с рассеченным лицом, с которого капала кровь.

Студент не ответил.

Я наклонился:

— Может, помочь тебе?

Студент разъяренно затряс головой и, хотя ничего не сказал, я услышал: “Уйди от меня! Уйди же!”

Спускаясь с горы, я подумал о том, что казах обманулся, что он был должен бить не студента, который и в сад-то даже не заступил, а меня, побывавшего там, где досыта налакомился черешней. “Что бы он, интересно, со мною сделал?” — подумал я с любопытством. И тут же отчетливо разобрал донесшийся до меня сквозь листву от поляны голос сторожа сада: “Плеткой тебя на два края...”

НОЧНАЯ СВЕЧА

Дождило весь август, технике на поле не захватить, и потому к зеленеющим лугам, как лет двадцать назад, потянулись с утра женщины и старухи.

Галина взяла бы с собой Марусю, да девушке дел хватает на ферме, и с ней напросилась пойти ее мать. Евфалье семьдесят лет, она дрябловица, с морщинками-лапками около глаз. Сила в руках у нее еще есть, но работать, как дочь, не может. Вот и сейчас расклоняет сутулые плечи и, жалуясь дочери, говорит:

— Нисколь не устала, а отдохну. Ладонь скоробило, ровно лодку.

Поднимая до скрипа затянутый сноп, Галина сочувственно смотрит на мать.

— Хватит, мама! Шла бы домой. Ты свое отработала. Эстоль дел в колхозе свалила.

Лицо у Евфальи светлеет, словно Галина напомнила лучшее время, когда играла в ней каждая жилка и работа давалась, любя.

— Я с тобой, как с собой. Гляжу на тебя и вижу лихие денечки.

Евфалья глядит на быстрые руки Галины, ее прокаленное солнцем шершаво-сухое лицо. Глядит и чувствует, как душа ее обмывается прежним, в котором было много хорошего и плохого, но почему-то пуще всего ей запомнилось хлебное поле.

Жать колхозную рожь Евфалья ходила с артелью таких же, как и она, одиноких колхозниц, чьих мужей увела из деревни война. Не в пример пятилетнему сыну Николке, который был боек с пеленок, трехлетняя дочка Галина росла боязливой, и мать всякий раз забирала малышку с собой. Садил ее на межу. Чтоб не плакала, приносила в подоле цветов. Сама же, взяв серп, хватала им по изножью стеблей.

Люто жала Евфалья. Страшно смотреть, как гулял ее серп, оставляя сзади сбриту ю жниву. Уходила с прокосом вперед. Ей кричали:

— Мы камнем шибать тебя станем! Эдак-то круто не смей!

Она возвращалась. Чтобы взять свою малую, приголубить ее, вновь нарвать васильков и ромашек — пусть свивает из них на головку веночек. Посадит дочурку на сноп, а сама серпом — хруст да хруст. Успевала до вечера выхватить двадцать соток. А еще, мнилось, мало. Поджигала сушняк, оставляя дочурку кидать в огонь палки и щепки. И долго жала еще по костру.

Не расставалась Евфалья с серпом всю войну. И теперь, как печальная память о нем — неумеха-рука. “Ничего,— размышляет Евфалья,— теперь я сильна Галининими руками. Все, что было во мне, перешло до капельки ей. Вон как лихо идет! Ровно прежняя я!”

— Ты бы полегче, не торопилась,— советует дочке,— поотдохни.

Галине не хочется отдыхать. Не потому, что она не устала. А потому, что в ней вспыхнула, загуляв, охотка к привычной работе. Эта охотка склоняла ее к урожайному полю. Ей желанно идти и идти, хватая пригоршнями лен, и думать о чем-нибудь сокровенном. О дочках, пристроенных в городах, у кого неплохие мужья и пригожие детки. О брате Никите, чья несуразно-беспечная жизнь ее смущает и удивляет. О доме родном, где каждый вечер за длинным столом собирается вместе большая семья — мать с отцом, Николай, ее муж, дочь Маруся, сынки Андрей и Николка — настоящий ракитовый куст.

Солнце падает к перелеску. Удлиняется тень ивняка. В вечеряющей дали, рождая прохладу, клубится зыбкая синева.

Поле льна превращается в луговину. По всей ее шири, как женихи за невестами, разбежались льняные суслоны.

Расходятся женщины и старушки. И Галина с Евфальей тянутся к дому.

На шершавом лице Галины сквозь выражение вечной заботы о детях, родственниках и доме рождается благодная улыбка.

— Устала, а чувствую хорошо.

— У твоей усталости,— отвечает Евфалья,— коротенький век. К утрию и пройдет.

— А твоя — не пройдет?

— Моей усталости, чтоб прошла,— вздыхает Евфалья,— одной ночи мало.

— Это о чем ты? — спрашивает Галина.— О чем вздыхаешь-то, мам?

— Вижу мило.

Евфалья действительно видит. Видит дорогу. Не только эту, которой ступает она с Галиной в деревню, но и немеряннo-вековую. Ею идет она семьдесят лет и видит в самом конце ее, точно свечу среди ночи, сияньице чьих-то ниспущенных глаз, обещающих ей тот самый отдых, каким Евфалья все время пренебрегала, оставляя его на непрожитый день.

ДОМОЙ

К вечеру солнце отяжелело и, выбрав уютное место, свалилось бережно за березы. Тотчас же выпорхнула луна. Омытая светом заката, она походила на алую чайку, летевшую над травой, где бродили, скучиваясь, коровы и лошадь с молоденьким пастухом.

Пастух — еще мальчик. Курносое, в темном загаре лицо, слишком широкий пиджак и тонкие, как у журавлика, ноги в резиновых сапогах — все

выдавало в нем хозяина пастбищ, который раньше, чем одногодки, свыкся с крестьянским трудом.

Взглянув на коровий прогон, он пошарил рукой за седлом, доставая две строганные стукалки. Поправил на шее веревку с висевшей на ней доской-барабанкой и задробил, сзывая стадо к деревне.

Деревня — вверху. Она виднелась зажженными огоньками между берез, неподвижно стоявших на косогоре.

Увел пастух многорое стадо, и на поскотине стало заброшенно и понуро. Зато пригорок деревни словно бы рассмеялся от перезвона колокольцов.

С крыльца острокрышей избышки сошла одетая в белое платье и белый платок белолицая баба. Принаклонилась к забору и, сделав шалашиком руки, стала смотреть из-под них на просужего пастуха. Насмотрелась и, мирно вздохнув, пошагала назад, не замечая, как все лицо ее осветила нежнейшая из улыбок. Улыбка матери, разглядевшей верхом на лошади сына, который в сумерках летнего дня неторопливо и чинно едет домой.

СОДЕРЖАНИЕ

В новых перьях	3
Ненужный свидетель	5
Родя	10
Улыбнувшаяся возможность	15
Кривая стрела	25
Поворот	34
Красивая местность	44
Ночная свеча	46
Домой	47

*Издание подготовлено при поддержке
Администрации Вологодской области*

БАГРОВ Сергей Петрович

КРИВАЯ СТРЕЛА

РАССКАЗЫ

Редактор А. А. Цыганов
Художник Э. В. Фролов

Сдано в набор 27.07.2000 г. Подписано в печать 11.08.2000 г. Формат 70x108/32.
Бумага писчая. Гарнитура "Таймс". Усл. печ. л. 2,1. Печать офсетная.
Тираж 999. Заказ 3072.

Вологодская писательская организация
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 2
ООО ПФ "Полиграфист", 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3